

РОМАН-9
ГАЗЕТА

Иван
Евсеенко

Паломник
Седьмая
картина



Иван Иванович Евсеенко

Седьмая картина

Scan, OCR, SpellCheck Чернов Сергей г.Орел

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=158690

Иван Евсеенко Паломник. Седьмая картина.: Роман-газета №9 2002 г.;

Москва; 2002

Аннотация

Некто дьявольского облика заказывает художнику, некогда известному и обеспеченному, но впавшему в нищету, картину на тему «Последний день России». Отчаявшийся живописец вкладывает в этот апофеоз катастрофизма весь свой немалый талант, но созданная им картина исчезает, остается чистый холст: у России не будет последнего дня.

Иван Евсеенко

Седьмая картина

(повесть)

Памяти Глеба Горьшина

Любимым художником у Василия Николаевича был Суриков. Еще со времен учебы в художественном училище, с самых первых курсов, он почувствовал к нему неодолимую природную тягу, стал подражать не только манере любимого мастера, но и образу его жизни, во всем упорядоченной, строгой. С годами подражание, разумеется, прошло, но твердая уверенность в том, что истинный русский художник должен быть именно таким, как Суриков (не размениваясь по мелочам, за всю жизнь написать всего семь картин, но зато каких!), только окрепла, перешла в убежденность. Тайно, про себя Василий Николаевич решил, что он будет как бы продолжателем дела Сурикова: за отпущенный ему срок жизни тоже напишет всего семь-восемь картин, в которых отразит важнейшие события в истории России двадцатого века, но главное – русские национальные характеры. Часами простаивая возле мольберта, Василий Николаевич иногда почти физически чувствовал, что это предназначение даровано ему откуда-то сверху, как сверху даровано такое же,

как у Сурикова, имя – Василий, и очень похожая, стоящая в одном ряду фамилия – Суржиков. Внешне он, правда, на Сурикова не походил, был худым и жилистым, но несколько этой непохожести не огорчился, хорошо зная, что внешнее сходство не имеет никакого значения, если нет сходства внутреннего.

К сорока годам Василий Николаевич кое-чего уже достиг. Пока его сверстники увлекались импрессионизмом, постимпрессионизмом, занимались всякого рода модными авангардистскими поисками, он был весь в русском, суриковском реализме, без устали думал над своими картинами и без роздыху писал к ним этюды. Результат не замедлил сказаться: шесть картин уже были написаны. Три из них закупила Третьяковка, две – Русский музей в Ленинграде и одну – Музей имени Пушкина.

Теперь Василий Николаевич думал и готовился к работе над седьмой картиной. Но она ему никак не давалась, и прежде всего не давался сам замысел, хотя, казалось бы, чего проще. Если Василий Николаевич написал шесть картин – «Конец серебряного века», «Расстрел царской семьи», «Крестынский вопрос», «Жуков в отставке», «На родине Гагарина» и «Русская свадьба», особого труда ему не доставит задумать и написать седьмую, а там и восьмую, девятую...

Но работа не двигалась. И не двигалась вот уже без малого десять лет. По Союзу художников и здесь, в родном городе, и в Москве, и в Санкт-Петербурге пошли слухи и злорадный

шепот, что, мол, всё, Суржиков выдохся, иссяк и теперь ему остается одно – с горя крепко запить.

Василия Николаевича и раньше в среде художников не любили. Все знали, что от Бога ему дано многое, и даже очень многое, талант мощный и с самого раннего возраста зрелый. То там, то здесь критики называли его еще при жизни Великим художником, и с этим нельзя было не согласиться. Собратья по кисти с подобными утверждениями соглашались, но, как и следовало ожидать, соглашались слишком ревниво, и, главное, не могли простить Василию Николаевичу того, как он своим талантом распоряжается. Если бы он работал от случая к случаю, месяцами, а то и годами пил, как пили многие из них, халтурил, подрабатывал по линии Худфонда на всякого рода оформительстве, они бы простили ему великий его талант, закадычно дружили бы с ним и гордились бы этой дружбой.

Но Василий Николаевич ничего подобного себе не позволял. Он жил экономно, а временами и бедно, только за счет средств, вырученных за проданные картины, растягивая их на долгие годы. Иногда, правда, случались у Василия Николаевича большие заказы от серьезных, понимающих толк в живописи организаций, своих и зарубежных, и если эти заказы совпадали с творческими потребностями и желаниями Василия Николаевича, то он брался за них и работал одновременно с работой над очередной картиной. Последним таким заказом был заказ от ЮНЕСКО большой серии картин

(более сорока) «Россия в пейзажах». Василий Николаевич выполнил этот заказ довольно быстро, он по-настоящему захватил его и увлек, хотя и потребовал больших затрат сил, долгих утомительных поездок по стране в поисках природы.

На деньги, полученные за эту серию, Василий Николаевич и жил все последние годы. Жил, опять-таки, экономно и расчетливо, не позволяя себе ничего лишнего: только еда, одежда и расходы на краски и холсты. Семьи у него никакой не было, не завелось с ранней молодости, а в зрелости он уже не заводил ее намеренно, предчувствуя, что ни жена, ни дети при нем счастливы не будут. Он весь в работе, в живописи и не сможет уделять им должного, необходимого внимания. В конце концов пойдут разлады, скандалы, как они в прошлом не раз случались в семьях других известных художников. Разумеется, нигде и никогда Василий Николаевич своих взглядов на семью не высказывал (одни живут так, другие – по-иному), но про себя, тайком и чаще всего во время работы, за мольбертом любил повторять знаменитые пушкинские строки:

Поэт, живи один, дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Не требуя любви за подвиг благородный,
Останься тих, спокоен и угрюм.

Он был всегда таким: тихим, спокойным и угрюмым, как был, наверное, в жизни и Василий Иванович Суриков. Оди-

ночество никогда его не угнетало...

Но в последние годы угрюмость Василия Николаевича становилась все более и более заметной и все более и более тяжелой. Причина тому была одна: новая, седьмая, картина ему никак не давалась, хотя Василий Николаевич несколько раз делал, как ему казалось, удачные эскизы, набрасывал в карандаше всю композицию и даже брался за масло, но потом все очищал и вымарывал.

Замысел ему представлялся ничтожно мелким, незначительным, не идущим ни в какие сравнения с предыдущими его замыслами, такими простыми и естественными в своей основе, но такими единственно верными.

Десять лет неудач во многом переменили характер Василия Николаевича: он стал не только угрюмым и замкнутым, но и раздражительно-вспыльчивым по любому, самому ничтожному поводу. Общаться с ним было тяжело, а временами так и просто невыносимо, и его год за годом оставили последние, казалось, такие надежные и верные друзья. Вначале Василий Николаевич лишь обрадовался их уходу, грешным делом, думая, что картина у него не получается именно из-за этих ложно преданных друзей, которые во время работы незримо присутствуют у него за спиной, надоедливо, с мефистофелевской ухмылкой вопрошают: «Ну как сегодня, есть сдвиги?» Выходило, что он как бы работает для этих друзей, чрезмерно дорожит их мнением, словно они главные заказчики и ценители его искусства.

Но работа над полотном не сдвинулась с места и после того, как Василий Николаевич остался совершенно один, всеми брошенный и забытый. Прежде так любимое им одиночество теперь не приносило никакой отрады, и он временами искренне начинал сомневаться в справедливости пушкинских строк: «Поэт, живи один...».

Вдобавок ко всем его духовным страданиям и бедам добавились еще страдания и беды чисто физические, низменные, которых он в былые годы никогда не знал и не испытывал. От рождения Василий Николаевич был человеком выносливым, крепким, весь в покойных отца и мать, людей деревенских, закаленных суровой среднерусской природой, — а тут вдруг начали одолевать его болезни, и особенно одна, с завидным постоянством повторяющаяся через довольно короткие промежутки времени: в груди, в дыхании у него начинались подозрительные перепады, пустоты, сердце при этом билось учащенно, но тоже с перепадами, словно собиралось вот-вот остановиться. Врачи советовали ему съездить в Кисловодск или в какой-нибудь местный санаторий подлечиться, настоятельно рекомендовали переменить образ жизни, усилить питание. Но все эти рекомендации и советы лишь раздражали Василия Николаевича. Он давно уже не имел никакой возможности съездить в самый захудалый провинциальный санаторий, в Дом творчества художников или в пансионат; не мог Василий Николаевич и усилить питание, закупить в мизерно-минимальных количествах необходимые

лекарства. Он впал в крайнюю, постыдную нищету, и теперь у него часто случались дни, когда в доме не было даже хлеба, спичек и соли.

Конечно, Василий Николаевич мог легко выйти из создавшегося положения – продать кое-какие эскизы и наброски к старым своим, знаменитым картинам (цена этим эскизам и наброскам была немалая, и покупатели бы легко нашлись, хоть в России, хоть за границей), но, во-первых, ему было безумно жаль расставаться с ними, единственными теперь напоминаниями о прежних его успехах; а во-вторых, Василий Николаевич меньше всего хотел, чтоб злонамеренные, бродящие о нем по городу слухи еще больше усилились и чтоб теперь самый ничтожный уличный обыватель поверил им и утвердился во мнении, что все истинно так – Суржиков окончательно опустился, пал и продает последние свои эскизы.

Был у Василия Николаевича и еще один, такой естественный в нынешних условиях выход (многие художники именно так и поступали): сдать кому-либо за хорошую плату квартиру, а самому переселиться в мастерскую и там потихоньку пережить тяжелые времена. Но и этого он тоже позволить себе не мог. Ведь опять пошли бы досужие, обидные для Василия Николаевича разговоры, насмешки, гордость его была бы уязвлена, а художник, потерявший гордость и чувство уважения к самому себе, не смеет рассчитывать на сколько-нибудь значительный успех в творчестве. Василий Нико-

лаевич терпел, дожидаясь, что вот-вот поступит ему серьезный, по его таланту и силе заказ и он сумеет одним разом поправить все свои дела: не все же и не везде его забыли...

Временами этот заказ и этот заказчик Василию Николаевичу даже снились. Вдруг дверь в его запущенную квартиру или в мастерскую открывалась, и на пороге появлялся богатый, знающий цену живописи Василия Николаевича заказчик и предлагал очень выгодную и, главное, творчески увлекательную работу. Василий Николаевич после таких снов просыпался весь взбудораженный, лихорадочно бросался к мольберту, как будто там уже стоял натянутый холст с эскизным наброском новой этой, хорошо оплаченной работы. Но на мольберте, разумеется, ничего не было; он стоял в углу мастерской запыленный, разохшийся и напоминал Василию Николаевичу сломанную, давно не работающую гильотину.

И все-таки Василий Николаевич не терял надежды, был терпелив и последователен в своих ожиданиях, чутко прислушивался к каждому шагу на лестничной площадке, стремительно брал при каждом телефонном звонке трубку, не без основания полагая, что заказчик вначале, скорее всего, позвонит именно по телефону.

Так прошло несколько месяцев, лихорадочно-возбужденных, но для Василия Николаевича в общем-то счастливых, как бывают счастливыми для любого человека последние дни и недели перед каким-либо особо важным в его жизни

событием. И он своего дождался.

Однажды в самый канун зимы на пороге мастерской Василия Николаевича, не обременяя ни себя, ни его никакими предварительными телефонными разговорами, предстал высокий средних лет человек в черном длиннополом, по последней моде, пальто и в черной, тоже безукоризненно модной шляпе. В руках вошедший держал дорогую наборную трость с тяжелым набалдашником из слоновой кости. Он был почти точно таким, каким представлялся Василию Николаевичу во сне, сдержанным и почтительно вежливым. Поставив трость в угол (Василию Николаевичу почудилось, что эту трость он тоже видел во сне), незнакомец с поклоном и доброжелательной улыбкой протянул ему руку и назваля:

– Вениамин Карлович Нумизматтер, коллекционер и собиратель живописи.

– Очень приятно, – предательски дрогнувшим голосом представился в свою очередь Василий Николаевич. – Суржиков, живописец.

Гость опять улыбнулся, давая тем самым понять Василию Николаевичу, что тот мог бы и не представляться – Вениамин Карлович прекрасно знает, кто он и что он.

Чего уж тут скрывать, Василий Николаевич был тронут и польщен подобным вниманием Вениамина Карловича. Он предложил ему раздеться и пригласил в глубь мастерской к двум кожаным, старинной работы креслам, предчувствуя, что дальнейший разговор у них будет еще более желанным

и ожидаемым для Василия Николаевича.

И он в своих предчувствиях не ошибся. Вениамин Карлович немного помедлил, привыкая к захламленной обстановке мастерской, а потом вдруг и выдал истинную цель своего прихода:

– Я, собственно, к вам с предложением.

– Каким? – опять с трудом подавил в себе волнение Василий Николаевич.

– Мне хотелось бы заказать вам картину, – немного заискивающе, но вместе с тем и не теряя гордости, проговорил гость.

После этой фразы поведение Вениамина Карловича понравилось Василию Николаевичу еще больше: в прежние годы именно так с ним говорили во всех музеях и картинных галереях (своих и зарубежных). Василий Николаевич знал себе цену и приучил окружающую его публику относиться к художнику Суржикову с должным уважением. Потом, конечно, когда он обнищал и перестал выставляться, это уважение растерялось, забылось, и многие уже позволяли себе высказываться по отношению к Василию Николаевичу снисходительно. Вениамин же Карлович первой своей фразой о предполагаемом заказе мгновенно вернул Василия Николаевича в прежнее его, давно забытое состояние. Василий Николаевич по достоинству это оценил и с достоинством спросил:

– А почему вы хотите заказать картину именно мне?

– Видите ли, – воодушевился, надеясь, должно быть, на удачу Вениамин Карлович, – я с давних пор страстный поклонник вашего таланта, считаю вас на сегодняшний день лучшим художником России.

– Ну, положим, это спорно, – искренне засомневался Василий Николаевич, хотя похвалой Вениамина Карловича, разумеется, снова был польщен. – А Глазунов, а Шилов?

– Что Глазунов! – решительно не согласился с ним Вениамин Карлович. – Он прямолинеен и неглубок. Рядом с вами я его поставить не могу. Да и никто не может. Вы это прекрасно сами знаете.

Василий Николаевич хотел было заступиться и за Глазунова, и за Шилова, с которыми был давно и хорошо знаком, но потом сдержался, посчитав, что, во-первых, этим он лишь подчеркнет свое превосходство над ними, а во-вторых, надолго отодвинет деловой разговор с Вениамином Карловичем. Продолжить же его надо было немедленно, ведь другой такой посетитель и заказчик появится у Василия Николаевича не скоро, если только вообще появится...

Вениамин Карлович, кажется, тоже был склонен говорить о деле, а не вступать в долгую, хотя, разумеется, и интересную дискуссию о современной живописи. Он несколько раз украдкой взглянул на часы и очень тактично повернул беседу в нужное ему русло:

– У меня есть копии всех ваших картин, но теперь я хотел бы иметь подлинник.

– Но я боюсь вас подвести, – счел за нужное предупредить его Василий Николаевич. – Я давно не выставлялся, работаю очень медленно.

– Иванов тоже работал медленно, – тут же возразил Вениамин Карлович, судя по всему, заранее предвидя и такой поворот в их разговоре. – Я готов ждать. И еще: я готов, если вы согласитесь, сейчас же оплатить шестьдесят процентов гонорара.

При нынешнем положении Василия Николаевича подобное обещание было очень даже существенным и нелишним, но он и здесь не уронил себя и ответил так, как привык отвечать заказчикам в те годы, когда был богат и обеспечен:

– Это не главное.

– Разумеется, – высоко оценил его замечание Вениамин Карлович. – Но я человек деловой и не люблю недоговоренностей.

– Я – тоже, – уже почти по-товарищески, по-дружески улыбнулся в ответ Василий Николаевич и спросил наконец действительно о самом главном для себя: – А какую картину вы хотели бы заказать?

Вениамин Карлович на минуту замолчал, посмотрел куда-то в угол мастерской, поверх мольберта, а потом повернулся к Василию Николаевичу и, глядя ему прямо в глаза, произнес:

– Картина должна называться «Последний день России».

– Как? – не совсем расслышал его и не понял Василий

Николаевич.

– «Последний день России», – уходя от встречного взгляда Василия Николаевича, ответил Вениамин Карлович.

– Это что же – по примеру «Последнего дня Помпеи» Брюллова?

– Ну, если угодно, – вздохнул Вениамин Карлович и опустил голову.

Предложение было, конечно, странным и неожиданным. Подобная мысль никогда не приходила в голову Василию Николаевичу, хотя лежала, в общем-то, на поверхности, была хорошо видимой и доступной, и особенно в нынешние времена, в нынешнем состоянии России.

– И что бы вы хотели видеть на этой картине? – с угрюмым пронизательным вниманием посмотрел на Вениамина Карловича Василий Николаевич.

– А вот это уже ваше дело! – довольно резко и жестко произнес тот.

Василию Николаевичу эта неожиданная резкость и жесткость в словах Вениамина Карловича не понравилась, но вместе с тем они и задели его самолюбие, как будто Вениамин Карлович сомневался, способен ли Василий Николаевич задумать и написать картину со столь тяжелым и ко многому обязывающим названием.

– Можно мне подумать день-другой? – решил он вступить с Вениамином Карловичем в незримое состязание.

– К сожалению, нет! – готов был и к этой уловке тот. –

Через два часа я улетаю в Рим, в галерею Дориа. Так что соглашаться надо сейчас, немедленно.

– В Рим? – деланно вздохнул, выигрывая две-три минуты, Василий Николаевич.

– Вы бывали в Риме? – неожиданно поддался на эту хитрость Вениамин Карлович.

– В Риме надо не бывать, а жить, – увел его еще дальше от существа разговора Василий Николаевич, – как жили Брюллов, Иванов или тот же Гоголь.

– Гоголя я не люблю, – нервно и излишне поспешно прервал его Вениамин Карлович.

– Почему? – удивился Василий Николаевич, в общем-то впервые встречая человека, который не любит Гоголя.

– А за что мне его любить? – словно что-то припоминая, проговорил Вениамин Карлович, но потом торопливо переключился на другую тему и вернул ее к прерванным переговорам: – Так вы согласны?

Василий Николаевич помедлил всего лишь минуту и вдруг твердо и решительно ответил:

– Согласен!

И вовсе не потому, что так уж прельстил его гонорар, предложенный Вениамином Карловичем, и не потому, что в разговоре было задето его самолюбие (сможет он справиться с подобным заказом или нет?), а по той простой и естественной причине, что именно в этот миг его настигло творческое озарение: он воочию увидел перед собой седьмую свою

картину, так удачно подсказанную ему Вениамином Карловичем и так удачно названную – «Последний день России». Она предстала перед Василием Николаевичем не только во всей своей композиционной завершенности, но и в цвете, в тонах и полутонах, многофигурная, многоплановая и очень глубокая по мысли, выражающая внутреннее состояние русских людей в последний, роковой день России. Все прежние шесть картин тоже возникали в воображении Василия Николаевича именно так – мгновенным, похожим на росчерк молнии озарением, доводя его всякий раз до страшного, болезненного исступления. Но того, что случилось с Василием Николаевичем сейчас, раньше он никогда еще не испытывал. Вначале все тело его пронизал холодный лихорадочный озноб, от которого сердце Василия Николаевича едва не остановилось, потом он сменился таким мощным и таким сильным приливом крови, что сердце с трудом справилось с ним и опять почти прекратило свои удары; взгляд у Василия Николаевича при этом померк и помутился, и он, словно сквозь темную ночную пелену, еще раз увидел перед собой картину во всех ее самых мелких деталях и, главное, четко увидел и навсегда запомнил лица населявших картину людей.

Все они были хорошо известны и знаемы Василием Николаевичем, он не раз встречал эти лица по всей России – на деревенских и городских улицах, в местах самых людных и обозримых и в таких захолустьях, куда, кроме него, худож-

ника, любопытного к подобным лицам, никто не заглядывал. И лишь одно лицо смутило Василия Николаевича. Оно было похоже на лицо его нынешнего посетителя, заказчика, правда, почему-то окаймленное курчавой, ассирийской бородой и с таким страшным, не поддающимся никакому описанию выражением, что Василий Николаевич, сколько ни силился, так и не смог запомнить его. Впрочем, когда взгляд Василия Николаевича просветлел и вся обстановка в комнате обрела вполне реальные очертания, он лишь усмехнулся этому видению: надо же так в воображении всему сместиться, что зримый, конкретный человек причудился ему на полотне со столь измененной внешностью (с ассирийской курчавой бородой!) да еще и с не поддающимся никакому запоминанию выражением лица.

Несколько минут это видение раздражало Василия Николаевича, но потом он легко отрешился от него, потому что воображение Василия Николаевича было уже занято другим: там началась и с каждым мгновением все нарастала привычная творческая работа над характерами и образами, что-то в них уточнялось, что-то переиначивалось, по-иному компоновалось рядом с другими фигурами. Вениамин Карлович одним своим присутствием теперь очень мешал Василию Николаевичу, по высокомерию своему не догадываясь, что творческий процесс изначально интимен, что он тайна, непостижимость и находиться при нем постороннему человеку никак нельзя. И особенно когда имеешь дело с худож-

ником, которому надо немедленно запечатлеть свое озарение на листе бумаги, иначе оно может уйти от него навсегда.

Но вот Вениамин Карлович, кажется, догадался, что ему пора уходить. Он напомнил о себе негромким покашливанием и, когда Василий Николаевич, прерывая в воображении работу над картиной, обратил наконец на него внимание, приподнялся с кресла и так же негромко, словно боялся чем-то обидеть и рассердить Василия Николаевича, спросил:

– Вам деньги наличными или перевести на счет?

– Если можно, то часть наличными, – вздрогнул и окончательно вернулся к реальной жизни Василий Николаевич.

Он вдруг вспомнил, что денег на сегодняшний день у него нет ни копейки, что он, если честно признаться, утром позавтракал лишь чаем с остатком батона и ломтиком сыра. К обеду же Василий Николаевич намеревался занять несколько рублей у соседа, удачливого предпринимателя, торгующего обоями, если только тот, разумеется, даст, ведь Василий Николаевич и так уже должен ему немало. И вдруг такая удача, такой случай, тут грешно было бы отказаться от наличных.

– Хорошо, – немедленно отозвался Вениамин Карлович.

Он достал из кармана сотовый телефон, быстро набрал номер и повелительным, не терпящим возражения голосом приказал кому-то невидимому:

– Никита, поднимись наверх.

Не прошло и пяти минут, как в мастерскую вошел моло-

дой человек атлетического вида с дорогим кожаным портфелем в руках. Подчиняясь новому приказанию Вениамина Карловича, он быстро раскрыл его и положил на стол какие-то бумаги. Признаться, это немного насторожило Василия Николаевича, который надеялся, что молодой человек в первую очередь достанет из портфеля так необходимые ему сейчас деньги. Пусть даже и не очень большую сумму, всего несколько сот рублей, но Василий Николаевич на сегодняшний день удовлетворится и ими, потому что изрядно уже устал нищенствовать, кормиться абы как, с унижением занимая деньги у соседа-обойщика.

Пока Никита верноподданнически раскладывал бумаги, Василий Николаевич успел представить, как он сейчас, немедленно, едва расставшись с гостями, пойдет в лучший городской ресторан – «Русскую тройку» – и закажет там себе самый лучший, самый богатый обед с коньяком, с дорогими винами, напоминающий ему давнишние московские обеды в Центральном Доме литераторов или в Доме Художника.

Вначале Василию Николаевичу принесут сборный салат из свежей зелени и овощей, внутри которого будут маринованные сливы, маслины, и потом появятся закуски: копченая ветчина, язык, красная и белая рыба, икра. Выпив рюмочку-другую коньяку под салат и закуски, Василий Николаевич немного передохнет, выкурит дорогую сигарету и наконец потребует себе первое – полную, доверху налитую тарелку наваристого, густо заправленного сметаной украинского

борща (впрочем, могут быть и варианты – сборная солянка или харчо), а через несколько минут и второе – корейку на ребрышках, грудинку или котлетку по-киевски с картошкой-фри. Само собой разумеется, что будут еще и любимые его жульены из кур или из грибов, потом что-либо экзотическое, южное: ананасы, апельсины, хурма (все это, наверное, любил есть в римских ресторанчиках большой гурман Гоголь); и в самом конце обязательно чашечка кофе по-турецки.

Василию Николаевичу захотелось всей этой роскоши и изобилия сей же час, сию же минуту, и он с немалой обидой и раздражением посмотрел на Вениамина Карловича, который возится с бумагами, вместо того чтобы выдать Василию Николаевичу необходимую сумму и как можно скорее исчезнуть, – неужто он не понимает, что сейчас он лишний, что Василию Николаевичу надо побыть одному, как он всегда любил бывать один, когда замысел новой картины уже найден и теперь где-то внутри (в душе и сердце) идет неостановимая творческая работа, созидание.

Но Вениамин Карлович уходить не торопился. Он пересмотрел на столе все бумаги, что-то вписал в них золоченой гелиевой ручкой и наконец подвинул Василию Николаевичу:

– Кое-какие формальности.

– Какие? – совсем пришел в негодование Василий Николаевич, и прежде с трудом переносивший всякого рода формальности, поскольку мало чего в них понимал и вечно пу-

тался.

– Договор, – попробовал, располагаяще улыбаясь, успокоить его Вениамин Карлович. – Мы с вами люди ответственные, деловые, и наши отношения должны быть узаконены.

– Ну что ж, – немного смягчился Василий Николаевич, – если надо, я готов.

– Вот и прекрасно, – похвалил его Вениамин Карлович и указал холеным, ухоженным пальцем, на котором сверкал изысканный перстень, на бумаги: – Здесь вот полная сумма, а здесь та, которую мы вам выдадим сейчас.

– Но это же... – искренне изумился при виде указанных сумм Василий Николаевич. – Это же непомерно много. Я так не могу...

Вениамин Карлович ни единым словом не прервал его негодующей, возмущенной тирады, сидел за столом молча, с отсутствующим, скорбным видом, но когда Василий Николаевич наконец выговорился, он сокрушенно покачал головой и вздохнул:

– Ах, Василий Николаевич, Василий Николаевич! Вот так мы в России всегда! Не умеем ценить своих талантов...

Василию Николаевичу стало вдруг от этих его в общем-то справедливых слов неловко и совестно, и не столько за самого себя, сколько за всех русских художников, за всех русских людей, которые издавна ценить себя не умели, да, кажется, не научились и сейчас. Он вспомнил Василия Ивановича Сурикова, который, если быть до конца честным, тоже прода-

вал свои картины за бесценок, за гроши и копейки, позволяя потом на них наживаться всякого рода посредникам, выдающим себя за меценатов. Ему стало совестно и за Сурикова.

– Ну, если для вас эта сумма не в тягость, – проговорил он, восстанавливая свое достоинство, – то я возражать не буду. Талант действительно надо ценить.

– Так бы с самого начала! – уже совсем по-дружески, по-свойски улыбнулся Вениамин Карлович и передал Василию Николаевичу золоченую свою ручку. – Подпишитесь.

Василий Николаевич, ничего в договоре больше не читая (он и раньше ничего в них не читал), черкнул во всех трех экземплярах что-то среднее между подписью и криптограммой, которую всегда ставил на полотнах, и вернул бумаги гостю. Тот глянул на подпись Василия Николаевича с нескрываемым восхищением, как будто перед ним была не закорючка, отдаленно напоминающая фамилию Василия Николаевича, а подлинный шедевр, законченное, готовое к выставке полотно. Но оказалось, что Вениамин Карлович подумал сейчас совсем не об этом.

Протягивая назад Василию Николаевичу один экземпляр договора, он как бы вскользь, как бы невзначай обронил:

– Я тоже в молодости хотел быть художником...

Случайное это, ни к чему, в общем-то, не обязывающее замечание неожиданно обидело и почти оскорбило Василия Николаевича. Знал он подобных меценатов и поклонников, которые, пользуясь своим общественным положением или

богатством, позволяют вести себя с художниками так вот запанибратски, ставить себя на одну с ними доску, высокомерно намекать – дескать, если бы не работа, не занятость, то они тоже могли бы создавать шедевры. Василий Николаевич всегда грубо и резко обрывал их, защищая свои собственные честь и достоинство и вообще достоинство всех художников всех времен, вечно нищих и вечно оскорбляемых. Он едва не взорвался и сегодня, но вовремя остановил себя, вдруг почувствовав, что, кажется, ошибся приняв слова действительно искреннего восхищения за скрытую снисходительность и насмешку. Он постарался как можно приветливей улыбнуться гостю, пособолезновать его давней жизненной неудаче, чтоб тот в свою очередь не заподозрил в нем высокомерия и неприязни. В завязывающихся между ними отношениях это было бы лишним. Вениамин Карлович на улыбку ответил улыбкой, белозубой и очень идущей к его темно-смуглому лицу, – и минутное недоразумение тут же забылось не успев даже как следует проявиться.

Встреча их была, считай, закончена, и теперь оставалось лишь по-дружески, с известной долей шутки завершить ее – передать и получить часть обещанного гонорара наличными.

По опыту Василий Николаевич прекрасно знал, что этот момент всегда самый щепетильный, а то и неловкий, и особенно у них, в России, где к деньгам привыкли относиться снисходительно и небрежно. Сколько раз в жизни Василия Николаевича случалось, что заказчик, основательно обо

всем договорившись, так и уходил, не оставив ни единого рубля наличными, и всего лишь потому, что никак не мог преодолеть излишней своей деликатности и стеснительности. В прежние годы Василий Николаевич подобных заказчиков всегда великодушно прощал и понимал: к деньгам он тогда тоже относился с истинно русской широтой и расточительством. Но сейчас он желал бы получить причитаемую ему сумму наличными безотлагательно, ведь время обеда уже почти приблизилось, и Василию Николаевичу, хочешь, не хочешь, придется идти к соседу-обойщику. А сегодня делать это ему не хотелось бы, потому что совсем иное у него сейчас настроение, возвышенное и вдохновенное, и говорить с соседом о каких-то там грошах унижительно, стыдно. Настроение сразу переменится, упадет до обыденного, низменного, и неизвестно еще, когда возвысится вновь.

Но опасения Василия Николаевича были на этот раз напрасными. Гость к обязательствам своим и деньгам относился, похоже, совсем не по-русски, а так, как принято к ним относиться где-нибудь на Западе – в Париже, Варшаве или в том же Риме. По-деловому просто, без глупой щепетильности и суеты он обратился к притихшему Василию Николаевичу:

– Теперь о сумме наличными. У нас, к сожалению, только доллары. Возьмете?

– Возьму, чего уж там, – попробовал все же перевести разговор в шутку Василий Николаевич, хотя еще минуту тому

назад ему было вовсе не до шуток. – Их, кажется, теперь везде меняют.

– Меняют, – все так же по-деловому подтвердил его догадку Вениамин Карлович. – Нам просто некогда.

После этого он повелительным жестом руки опять помянул к себе Никиту, который все это время стоял в отдалении от них, почти у двери, и приказал:

– Выдай!

Никита, заученно щелкнув замками портфеля, вынул оттуда несколько пачек долларов, по-банковски переплетенных бумажными ленточками, и положил их на стол перед Василием Николаевичем с той же почтительностью, с которой несколько минут тому назад раскладывал листы договора. В каждом его движении было столько изящной отточности, что Василий Николаевич невольно залюбовался им и удивился, откуда в России могут быть такие молодые люди.

– Пересчитайте! – попросил Василия Николаевича Вениамин Карлович.

Ну уж до этого Василий Николаевич опуститься не мог. Это было бы совсем уж унижительным и позорным – уподобиться сейчас какому-либо заштатному бухгалтеру, который подозревает в обмане, а то и в воровстве, каждого своего клиента и прилюдно пересчитывает несчастные эти рубли и копейки.

– Я вам верю, – с улыбкой, но и с уважением к самому себе отверг просьбу Вениамина Карловича Василий Николаевич.

– Мы вам тоже, – кажется, остался тот очень доволен его поведением.

Сделка была закончена, завершена, и Вениамин Карлович, проявляя особую деликатность, не стал больше томить Василия Николаевича пустыми, необязательными разговорами (а ведь именно этого тот и опасался). Он поднялся из-за стола, протянул Василию Николаевичу красивую свою, украшенную дорогими перстнями руку и распрощался:

– Работайте. Мы наведаемся через год.

Василий Николаевич хотел было заверить Вениамина Карловича, что навеститься или хотя бы позвонить можно и пораньше, месяцев через пять-шесть, ведь он если вдохновится, то работает, считай, круглые сутки и за полгода картину напишет. Но потом Василий Николаевич все же сдержался, посчитав подобный порыв, похожий на хвастовство, излишним и опасным. После, легкомысленно оговоренные, эти шесть месяцев будут постоянно довлеть над ним, сковывая вдохновение и мешая работе. Василий Николаевич молча и сдержанно пожал Вениамину Карловичу руку, попутно с удивлением для себя заметив, что его собственная рука какая-то слишком уж корявая и по-крестьянски узловатая, с навсегда въевшейся под ногтями краской. Он на мгновение застыдился ее, хотя, казалось бы, чего же тут стыдиться: у художника, у работника рука и должна быть именно такой – узловатой и по-крестьянски крепкой. Не перстнями же ее, в самом-то деле, украшать!

Но настроение у Василия Николаевича едва было не испортилось (а оно всегда у него портилось и менялось под впечатлением какого-либо случайного минутного образа), едва не настигла его так надоевшая ему за последние годы депрессия, упадок сил и уныние. Его спасло лишь то, что гости уже ушли, что шаги их на лестнице быстро удалились, а потом и вовсе затихли; где-то на улице негромко хлопнула дверца машины, зашуршали по асфальту колеса, последние шумы растаяли за поворотом улицы, и в мастерской Василия Николаевича установилась так любимая им абсолютная тишина. Он оглянулся на стол, где лежали настоящие горы, пирамиды новеньких, ни разу еще не бывших в употреблении долларов, широко и свободно улыбнулся – и его вдруг охватила неумемная жажда деятельности, движения и поступков.

Первым делом Василий Николаевич отправился домой и позвонил в квартиру соседа-обойщика.

– Платон Платонович, – решил он с ходу осчастливить его. – Должок хочу вернуть.

– Да что вы, что вы! – искренне застеснялся Платон Платонович, человек в общем-то покладистый, терпеливый. – Мне не к спеху.

– Берите, пока есть, – совсем уж развеселился и рассмеялся Василий Николаевич.

– Разбогатели? – в тон ему спросил-ответил Платон Платонович.

– Немножко, – по-свойски, по-соседски подмигнул Васи-

лий Николаевич и, отсчитав из пачки несколько десятидолларовых купюр, протянул их Платону Платоновичу.

– Да тут будет с процентами, – начал было возражать тот.

– Какие там проценты! – замахал на него руками Василий Николаевич. – Даст Бог, не в последний раз одалживаемся.

– Ну разве что так, – улыбнулся Платон Платонович и взял долг с процентами. За недолгие годы торговли он, судя по всему, научился относиться к деньгам совсем не так, как относился к ним раньше, когда был просто рядовым инженером-механиком и жил от зарплаты к зарплате. Теперь же он умел ценить и деньги, и людей, имеющих эти деньги. Василий Николаевич по-хорошему позавидовал ему и решил, что со временем он тоже обязательно обретет подобное умение. Иначе сейчас не проживешь!

Расставшись с соседом, Василий Николаевич немедленно отправился в «Русскую тройку». Время уже перевалило за полдень, и надо было наверстывать упущенное, поскорее заказывать вожаделенный цэдээловский стол, пока не пропал аппетит. Василий Николаевич ускорил шаг и уже взялся было за дверную ручку ресторана, но вдруг посмотрел на себя как бы со стороны – и просто ужаснулся. Ну разве можно в таком отрешье идти в сколько-нибудь приличный ресторан: на Василии Николаевиче было старенькое, замызганное пальто, точно такой же, замызганный, в подтеках краски костюм, не очень свежая рубашка без галстука и вдобавок ко всему предельно износившиеся, с лопнувшей пополам по-

дошвой туфли.

Василий Николаевич отдернул руку и перешел на другую сторону улицы, где недавно открылся богатый универсальный магазин, чем-то напоминающий заграничные супермаркеты. Всего за час-полтора Василий Николаевич купил себе в этом супермаркете все необходимое: дорогой импортный костюм, тончайшей, тоже импортной, ткани рубашку, лакированные туфли, а вместо галстука – изящно-аристократическую бабочку, которую до этого никогда не носил и которую, признаться, толком не умел повязывать. Ему помогла молоденькая, похожая на манекеншу с витрины продавщица. Василий Николаевич расчувствовался ее вниманием и обходительностью и подарил пятидесятидолларовую купюру. Продавщица ничуть этому не удивилась (как будто ей по пятьдесят долларов дарит каждый второй покупатель), не стала отказываться, а лишь очаровательно улыбнулась и еще раз на прощанье поправила Василию Николаевичу на шее бабочку. Ему все это очень пришлось по душе: и ее улыбка, чем-то напоминающая улыбку Татьяны Дорониной – любимой актрисы Василия Николаевича, и нежное прикосновение ее утонченных пальчиков к шее, и еще более нежный запах дорогих, должно быть, французских духов. Василий Николаевич пожалел, что в этом отделе ему больше покупать нечего и надо уходить в отдел верхней одежды, чтобы купить пальто. Он лишь оглянулся на продавщицу с особым, давно уже забытым томлением и точно так же, как о Никите, сопровож-

давшем Вениамина Карловича, подумал – откуда же по нынешним временам берутся в России подобные молодые женщины?

Пальто Василий Николаевич приобрел тоже довольно быстро, длиннополое, по новейшей моде, купил и велюровую шляпу в тон пальто, и когда во всем этом одеянии, в обновках глянул на себя в зеркало, то вдруг с улыбкой подумал, что теперь он по всему своему облику очень даже похож на Вениамина Карловича Нумизматтера. Вот разве что не хватает ему бриллиантового фамильного перстня на пальце. Впрочем, не хватало и еще чего-то. Василий Николаевич вначале никак не мог понять – чего же, но потом его осенило – тяжелой инкрустированной трости с набалдашником из слоновой кости. Он от души рассмеялся этому своему открытию. Вооружиться бы ему сейчас слоновой тростью, и тогда – хоть прямо сегодня же в Рим.

Но тростей в магазине, кажется, не было. До этого в России пока еще не дошли. Василий Николаевич рассмеялся по второму разу и, бросив прежние свои наряды, упакованные заботливыми продавцами в аккуратный необременительный пакет, на выходе в урну (хотя они вполне еще могли бы пригодиться ему в мастерской), направился в «Русскую тройку», теперь уже относясь к себе с полным уважением и гордостью. Но, передавая в фойе ресторана пальто услужливому гардеробщику, он вдруг почувствовал, что трости ему действительно не хватает, что было бы сейчас неплохо вместе с паль-

то и шляпой передать этому старику-гардеробщику в фальшивых золоченых позументах еще и инкрустированную слоновой костью трость. А так получалось, конечно, немного легковесно и неубедительно.

Василий Николаевич почти всерьез расстроился этому обстоятельству и шагнул в ресторан в немного подыспорченном настроении. Но вскоре оно выровнялось, потому что ресторан превзошел все его ожидания. Раньше в этом старинном здании был коммерческий продуктовый магазин, и Василий Николаевич частенько забегал в него по дороге из мастерской за дефицитным в ту пору мясом, копченой колбасой или сыром сулугуни, который он очень любил. Потом магазин прикрыли, года полтора в нем велся подозрительно затяжной ремонт, и вот совсем недавно на месте вечно сырого и грязного полуподвальчика возник ресторан с торжественно-окрыленным названием «Русская тройка». Оборудован внутри он был с истинно русской широтой и размахом. На торцевой стене, где раньше располагались убогие коммерческие прилавки, теперь во всю ее ширь и высь красовалась, как и следовало ожидать, картина «Русская тройка». Сюжет ее явно был позаимствован из знаменитых иллюстраций к «Мертвым душам» Гоголя, с той лишь разницей, что в слюдяном окошке кареты виднелась не испуганная физиономия предприимчивого Павла Ивановича Чичикова, а румяное личико русской красавицы, обрамленное кокошником и кружевной накидкой. Но картина все равно впечатля-

ла и, должно быть, соответствующим образом воздействовала на посетителей ресторана, поднимая и поддерживая у них и без того веселое настроение, а также неистребимый дух русского патриотизма. Художник хорошо расположил картину композиционно, удачно подобрал колорит и цвета, и Василий Николаевич великодушно простил ему заимствование сюжета. И мало того, что простил, так еще и восхитился (разумеется, не без ехидства) образу русской красавицы в окошке.

«Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, – вспомнил он вдруг известное любому школьнику лирическое отступление Гоголя в «Мертвых душах», – а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро, живьем, с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню – кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход – и вот она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух».

Увлечшись, Василий Николаевич, наверное, дочитал бы в

уме лирическое отступление Гоголя до конца, до последних его, самых сокровенных строчек: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства», – но в это мгновение к нему подоспел метрдотель, разодетый под русского степенного мужичка – в красную рубаху-косоворотку и сафьяновые сапожки. Наметанным глазом он безошибочно угадал в Василии Николаевиче богатого посетителя, подхватил его под локоть и повел в глубь зала, в уютный его уголок, где за резною колонною стоял особый, рассчитанный на самых дорогих гостей столик. Тут же появились и официанты, а вернее, половые, тоже все в рубахах-косоворотках, подпоясанные затейливыми поясками и в легоньких бесшумных сапожках. Василий Николаевич подивился их проворству: в считанные минуты официанты-половые приняли от него заказ, ни в чем не отказав, даже в столь изысканном и явно не из русской кухни блюде, как его любимые жульены из кур и грибов. Он невольно сравнил порядки в этом новозаведенном ресторане с порядками в том же ЦЦЛ или в Доме Художника. Там, прежде чем занять столик, надо было простоять добрых полтора, а то и два часа в предбаннике, дожидаясь очереди, одаривая пышную, армянского происхождения женщину-метрдотеля шоколадками. Но и шоколадки не всегда помогали, и особенно таким вот, как Ва-

силий Николаевич, провинциальным художникам, которых столичные метрдотели и официанты не знали да и знать не желали, отдавая предпочтение своим, московским ежедневным завсегдатаям, хотя большинство из них и были самыми заурядными малярами и графоманами. Здесь же, в «Русской тройке», все было иначе, здесь, в провинциальной глуши, раньше столиц научились уважать в человеке прежде всего человека. Василий Николаевич по достоинству оценил провинциальную эту простоту и радушие: все здесь было устроено действительно незатейливо, простенько, но вместе с тем и как-то очень по-русски, широко и раздольно. Так что первоначальная ирония Василия Николаевича была, пожалуй, неуместной, и ему стало немного неловко за нее...

После первой рюмки коньяку под зелень и буженину настроение у него еще больше поднялось, окрепло, и он откровенным образом принялся пировать, порядком соскучившись по таким вот пирам-раздольям, когда можно себе позволить все что угодно.

А тут еще и оркестр, разнаряженный под цыган, заиграл плясовую купеческую песню. Из-за столиков в центр зала, в круг, пара за парой, а потом и поодиночке вмиг высыпали притомившиеся за столами от водки и закусок вечерние и ночные гости. По одному только их виду Василий Николаевич понял, что народ здесь собирается не абы какой, не всякая там голь перекатная, которая дрожит над каждой копейкой и каждым рублем, а знаменито богатый, состоятель-

ный, умеющий хорошо поработать, нажать это богатство, а после и хорошо, вдоволь и всласть отдохнуть. Особенно интересными и привлекательными ему показались женщины: все в дорогих вечерних нарядах, в жемчугах и перстнях, и какие все красавицы (поистине уж русские!), зажигательные и томные. Они тут же обнаружили за столиком Василия Николаевича, человека для них нового, появившегося в «Русской тройке» впервые, вытащили его в центр зала и закружили, заполонили в танце. Василий Николаевич пробовал было вначале сопротивляться, а потом махнул на все рукой и, поддавшись их полону, легко пустился в пляс-перепляс, вспомнив, что в молодые свои, деревенские годы он не хуже других танцевал в сельском клубе и вальс, и фокстрот, и «сербиянку с выходом». Женщины в одно мгновение оценили его умение, запели подозрительно вольные частушки с намеком и завлечением. Он им ответил тем же. В общем, родство душ тут же обнаружилось, окрепло, а после еще двух-трех рюмок, выпитых уже совместно, за знакомство и продолжение знакомства, перешло в настоящую дружбу, которая в будущем могла сулить и настоящую любовь.

Вскоре обнаружился и предмет этой возможной любви. В круг для одиночного какого-то, сольного танца вышла вдруг женщина лет тридцати пяти, которую Василий Николаевич разглядел и выделил и раньше. Она была заметно красивей своих подружек-соперниц, танцевала с неподдельным особым весельем и особой женской удалью. Это именно про та-

ких чаще всего и говорят: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». И, главное, как раз эта женщина первой и вытащила Василия Николаевича из-за стола, тоже по своим тайным приметам выделив его среди других мужчин, заставила пуститься в пляс и петь частушки.

Одиночного танца этой женщины, как сразу догадался Василий Николаевич, все очень ждали, он, наверное, был обязательным на каждой такой вечеринке, ритуальным, что ли.

Вначале женщина, широко, по-лебединому раскинув руки, прошлась-проплыла по кругу, потом раз-другой притопнула лакированными туфельками, потом вздрогнула пышными роскошными плечами и шеей, повернула руки ладонями вверх, ослепляя всех сиянием, должно быть, бриллиантов на пальцах, и наконец закружилась-зашлась в таком танце, в такой метели и вьюге, что у всех зрителей просто перехватило дыхание. Мужчины один за другим начали выхватывать из карманов деньги, по большей части доллары, и под одобрителный гул зала бросать их под ноги плясунье. Но она не обращала на эти доллары никакого внимания, топтала их ногами, отбивалась от их кружения все так же широко, по-лебединому раскинутыми руками и все хохотала и хохотала, словно подзадоривала совсем обезумевших мужчин: «Мало, мало, мало!!!».

Василий Николаевич не выдержал этого ее ехидства и насмешки – выхватил из кармана пачку долларов, в одно движение разорвал на ней бумажную ленточку-переплет и, по-

срамляя всех остальных мужчин, бросил над головой красавицы, которая тут же утонула в хрустящих, похожих на зрелые июльские листья купюрах. Но зато как он был вознагражден за свою щедрость! Не сбиваясь с ритма, женщина вдруг подбежала к нему и затажно, обжигающе жарко поцеловала прямо в губы, обдав перед этим таким зовущим взглядом, что Василий Николаевич окончательно потерял рассудок и дыхание. После поцелуя и взгляда женщина, опять-таки не сбиваясь с ритма, ловко и заученно (должно быть, делала это уже не первый раз) стала подбирать с пола разлетевшиеся доллары, складывать их на ладони в большую и все разбухающую пачку, а когда последний доллар был подобран, вдруг с веселым, не менее ошеломившим Василия Николаевича озорством и нахальством спрятала их за вырез глубоко декольтированного вечернего платья.

Ресторанная публика одобрительно и завистливо ахнула, а Василий Николаевич, совсем уже пьянея, подумал: «Нет, все-таки умеют веселиться русские люди!».

Но танец наконец закончился, последние его вакхические звуки умолкли, и в зале наступила умиротворительная, словно полуденная тишина. Все опять накинудись на еду и выпивку, но как-то тяжело и одурманенно. Мужчины (было видно) начали сожалеть о понапрасну в экстазе выброшенных деньгах, а женщины – откровенно завидовать своей удачливой сопернице (кажется, Даше), которая так легко окрутила их незадачливых мужей и кавалеров. Правда, ни

мужчины, ни женщины подлинных своих запоздалых чувств (раскаяния и зависти) не выдавали, а наоборот, старались быть бесшабашно веселыми, многие срывались на вычурные полукавказские тосты, но тяжесть и надрыв от этого лишь усиливались, и все их застолье, выпивка больше стали походить на похмелье.

Василию Николаевичу принесли жульен и еще что-то экзотическое в невысоких металлических вазочках, но он решительно отодвинул все в сторону, бесцельно и бесполезно выпил подряд несколько рюмок коньяку и вдруг почувствовал, что у него тоже начинается похмелье, тяжелое и затяжное, с головной и сердечной болью. Он начал все больше мрачнеть, отчуждаться от своих недавних собутыльников и собутыльниц, стыдиться, что поддался их соблазнам, пел какие-то глупые частушки, неумело, по-деревенски плясал, потешая пьяное сборище. Голова Василия Николаевича действительно похмельно болела, но была трезвой и ясной, и он едва ли не вслух обозвал все это пьюще-жующее сборище, все это торгово-продажное племя потомками Чичикова и почему-то Собакевича, хотя им, пожалуй, больше бы подходило быть потомками Ноздрева.

Бдительная Даша (или как там ее на самом деле звать?), единственная из всего застолья оставшаяся веселой и довольной собой, мрачность Василия Николаевича заметила. Понять ее настоящую причину она, конечно, не смогла и подумала, наверное, что он просто не подрасчитал в застолье

свои силы, выпил лишнюю рюмку-другую. Она запретительно через весь зал помахала ему рукой, мол, больше пить не надо. Василий Николаевич ответил на ее жест согласием, перевернул рюмку вверх дном, лишь бы она еще раз не вздумала его потревожить. Но Даша поняла согласие Василия Николаевича по-своему, незаметно пробралась к его столику и, шурша за вырезом платья долларами, которые, оказывается, так и не удосужилась перепрятать куда-либо в более надежное место, опять обдала зовуще-завлекающим взглядом:

– Один не уходи. У меня машина.

– Хорошо, – бодро пообещал Василий Николаевич, но как только Даша гордой походкой победительницы отошла к своему столику, он по-за колоннами и многочисленными шторами улизнул в раздевалку, предусмотрительно оставив официантам рядом с перевернутой рюмкой необходимую сумму.

Только Даши ему сегодня не хватало! Василий Николаевич на мгновение представил, чем могла закончиться для него поездка (и куда?!) с этой долларовой Дашей, и окончательно протрезвел. Впрочем, это ему так только показалось: на самом же деле Василий Николаевич был тяжело и опасно пьян. Подобным образом он напивался всего два-три раза в жизни, по молодости еще и глупости, когда обмывал с друзьями первые свои картины. Он и тогда не был доволен собой, а теперь так и вдвойне. Это надо же – на старости лет забрести в пошлый какой-то ресторан и напиться там до положения кистей! Одно было хорошо и отраднo: о потрачен-

ных и выброшенных под ноги Даше деньгах Василий Николаевич ничуть не сожалел, а тогда, в молодые годы, помнится, крепко сожалел и об этом. Хотя и то надо сказать, тогда он веселился на гонорар, полученный уже за готовые картины, а теперь лишь за замысел, да и то придуманный не им самим. А это совсем иное дело, тут деньги как бы и не в счет.

Домой Василий Николаевич добрался с трудом. Несколько раз падал на тротуар, опасно ударяясь о бордюрные камни, и только чудом не поломал себе ребра. Но даже в таком плачевном состоянии он не потерял мнимой своей трезвости и после каждого падения, кое-как поднимаясь на ноги, искренне сожалел и сокрушался, что нет у него сейчас в руках трости, инкрустированной слоновой костью. А то как бы хорошо было опереться на нее, легко подняться и легко, никуда не клонясь, пойти домой, помахивая ею и постукивая по ненавистному тротуару, по его немилосердно жестким бордюрным камням. Но трости не было, и Василию Николаевичу приходилось идти, как самому беспробудному пьянице, придерживаясь где за стволы и ветки деревьев, а где так и за стенки домов. Хорошо еще, что была уже глубокая осенняя ночь, и его никто не видел, и в первую очередь милиция, иначе бы Василию Николаевичу пришлось провести остаток ночи в вытрезвителе. Это, конечно, намного лучше, чем у долларовой-грудастой Даши, но все равно в планы Василия Николаевича не входило. Тем более что за всю свою жизнь он в вытрезвителе ни разу не был. Бог пока миловал...

Кое-как, с третьего или четвертого попадания Василий Николаевич открыл увертливым и скользким ключом дверь, ввалился в квартиру и, не раздеваясь, в пальто и туфлях упал на кровать.

Проспал он, наверное, часов двенадцать, а когда проснулся (кстати, не испытывая никакого похмелья, никакой боли, ни головной, ни сердечной), то с удивлением обнаружил, что он раздет и разут и спит в кровати, покрытой поразительно чистым (только из прачечной) накрахмаленным бельем. Вначале он немало испугался этому обстоятельству и даже подумал, что он не дома, что блудливая эта Даша все-таки околдовала его, пьяного, и увезла с собой. Но потом он огляделся, с радостью признал свою комнату и по-трезвому похвалил в душе сам себя. Выпивка выпивкой, а он все же молодец: вовремя ушел из ресторана, вовремя (хотя, разумеется, и не без труда, не без потерь) добрался домой, и мало того, что добрался, так еще и не торопясь, последовательно разделся, аккуратно повесил новое свое пальто в прихожей на вешалку, а рубашку и костюм на плечики в шифоньер. Не забыл он и про бабочку: терпеливо и со вкусом приспособил ее рядом с зеркалом. Единственное, чего не мог вспомнить Василий Николаевич, так это того, как он ухитрился застелить новые простыни (и вообще, откуда они у него? неужто вчера вместе с одеждой он купил и белье?) и принять перед сном душ. Но вот же ухитрился: простыни на кровати были хрустяще-нежными, а тело хотя и в ссадинах и синяках, но

поразительно бодрым; голова и борода освежающе пахли дорогим яблоневым шампунем.

В общем, Василий Николаевич мог быть собой доволен. После стольких лет нищеты и уныния он вполне заслуженно позволил себе небольшую вольность – пирушку. Кстати, любой другой художник или писатель на его месте, получив столь значительный гонорар, позволил бы гораздо больше и уж точно бы уехал на всю ночь с Дашей...

Но постепенно, час за часом самодовольство Василия Николаевича начало проходить, а на смену ему вернулась и в короткое время безраздельно овладела всем существом Василия Николаевича вчерашняя ресторанный тяжесть и раздражение. Он вначале никак не мог понять, откуда она снова возникла и по какой причине терзает и изводит его на нет, попробовал даже выпить рюмку водки, решив, что это все-таки просто похмелье, запоздалое раскаяние за содеянное вчера в пьяном бреду и угаре. Но водка не помогла, а лишь усугубила его мрачное состояние. И так было до самого вечера, до ночи: Василий Николаевич, поддавшись этой похмельной тяжести, все время сидел в кресле, иступленно смотрел на стену, где висела копия его картины «Расстрел царской семьи», но ничего там, кроме рамы, не видел.

И вдруг уже в первом часу он все осознал, все понял и до глубины души обрадовался простоте разгадки своего мрачного состояния. Душа его всего за один вечер, проведенный в праздности в ресторане, устала; она у него совсем другая,

рабочая, страдающая, любое безделье и праздник ей вредны и опасны.

Василий Николаевич подхватился с кресла, поспешно натянул на себя какие-то старые, десятилетней давности одежды (попутно очень посожалев и подосадовав, что вчера опрометчиво выбросил в урну более новые) и среди ночи на случайно остановленной машине помчался в мастерскую. Там он немедленно вооружился столярными инструментами и принялся мастерить подрамник. Многие художники подготовительной этой работы не любили и заказывали подрамники в Худфондах, где всегда есть какой-либо веселый, вечно подвыпивший столяр. Но Василий Николаевич любил. У него в мастерской стоял добротный столярный верстак, добытый Василием Николаевичем однажды по случаю на мебельной фабрике. К столярному ремеслу Василий Николаевич пристрастился еще в сельской школе, на входивших тогда в моду уроках труда, когда всерьез еще и не собирался быть художником. Ему нравилось строгать доски шершешкою и рубанком, отбирать четверти и шпунты, проводить-пропускать по кромке наличника затейливо и ровно бегущие дорожки, с микронной точностью подгонять шипы. Уже само название столярных инструментов приводило его в неопишуемый восторг и вожделение, в них ему слышалась особая, неповторимая музыка. Но не в немецких, как они обозначаются во всех пособиях по столярному делу – зензубель, ценубель, шерхебель, фальцгобель, а в переделан-

ных на русский манер, приспособленных к русскому языку и обиходу: шершепка, рубанок, дорожка, четверть-отборник, шпунт. Все эти инструменты в мастерской Василия Николаевича, которая больше напоминала столярную, чем художественную, теперь были, и он дорожил ими почти так же, как хорошими кистями и красками. Мастерил подрамники (а когда картина завершена, то и многоярусные рамы) Василий Николаевич с тем же вдохновением, как и писал картины. Работа эта требовала не меньшей страсти и творческого порыва, и Василий Николаевич отдавался ей со всей увлеченностью истинного художника. Подрамники у него всегда были на шипах из доски-пятидесятки и по своей конструкции и прочности напоминали деревенские оконные рамы, которые когда-то в школьной мастерской его учил делать преподаватель труда, знаменитый сельский столяр и плотник Яков Степанович Сытников.

Только еще взявшись за пилу и рубанок, Василий Николаевич остро почувствовал, как же он, оказывается, за эти неудачливые годы соскучился по любимой своей столярной работе – по мерному шуршанию рубанка, по вкрадчиво-осторожному повизгиванию припасовочной пилы, по смолистому запаху стружек и острее всего, пожалуй, по привычной ломоте и усталости в плечах и запястьях.

Подрамник Василий Николаевич мастерил до самого утра и закончил его, когда за окном уже начало рассветать, когда ночная осенняя темень стала отступать далеко за город, в

поля и леса, а здесь, вокруг мастерской, разгорался чистый и радостный день.

Работой своей Василий Николаевич остался доволен. Подрамник у него получился отменно прочным, основательным, из хорошо просушенной лиственницы, скипидарно пахнущий хвоей и как бы чуть-чуть позванивающий, когда к нему нечаянно прикасаешься стамеской или ручкой пилы. Покойный Яков Степанович за такую работу Василию Николаевичу непременно поставил бы пятерку. А пятерки своим ученикам, начинающим столярам и плотникам, он ставил очень редко.

Одно только немного смущало и приводило Василия Николаевича в странное, настороженное расположение духа. Все время, пока он мастерил подрамник, ему казалось, что кто-то невидимый и неосязаемый нет-нет да и возникает у него за плечами и безмолвно следит за ним. Василий Николаевич несколько раз останавливал на замахе рубанок, придерживал движение пилы и оглядывался назад, но никого не было. Он усмехался своим ночным страхам, продолжал работу, но желанного успокоения не приходило, а наоборот, им овладевала еще большая тревога, в душу непрошено ползла та похмельная тяжесть, которая изводила его весь вчерашний день. Иногда, доведенный до отчаяния присутствием постороннего безликого гостя, Василий Николаевич даже восклицал в сердцах: «Да изыди же ты, ради Бога!» и после этого суеверно слышал поскрипывание двери – гость уходил, но

всякий раз ненадолго и со смешком.

Окончательно он исчез лишь на рассвете, когда подрамник был уже готов и установлен на мольберт. Василий Николаевич восторжествовал и в назидание и вдогонку исчезнувшему гостю проговорил: «Вот то-то же!». Гость ничего не ответил, а лишь в последний раз протяжно хохотнул – и на том они расстались.

При свете дня Василий Николаевич отнес все эти свои ночные страхи и видения к последствиям неумеренной выпивки, поругал себя за нее в душе, поукорял, а потом, дав крепкий зарок, обещание подобного никогда больше не допускать, лег на диван, чтоб несколько часов поспать.

Сон его был глубоким и чистым. Лишь перед самым пробуждением Василию Николаевичу на несколько мгновений привиделся вдруг Яков Степанович со складным плотницким метром в руках. Хитро прищурившись, он кивнул на подрамник и сделал Василию Николаевичу строгое учительское замечание: «Левый верхний угол затянут на два миллиметра». Во сне Василий Николаевич с замечанием строгого своего наставника согласился, но, проснувшись и тщательно промерив подрамник по внутреннему и внешнему периметрам, а потом еще и по диагоналям, все придирки Якова Степановича отверг. Подрамник был сделан на совесть, без всяких изъянов, перекосов и затяжек, всегда позорных для настоящего столяра. Сам Василий Иванович Суриков не отказался бы написать на таком подрамнике лучшую свою кар-

тину. А уж он-то, сибиряк и таежник, толк в дереве и столярном мастерстве, поди, понимал.

Теперь Василию Николаевичу предстояло натянуть на подрамник холст и хорошенько его загрунтовать. Эта работа ему тоже всегда очень нравилась. Каждый раз Василий Николаевич делал ее с крестьянским прилежанием и охотой и считал не менее важной, чем писание самой картины. Он относился к тому типу художников, для которых в работе над полотном нет мелочей и случайностей. Собираясь писать самый незначительный, проходной этюд, они готовили холст, кисти и краски так же тщательно и ответственно, как и в преддверии работы над большой этапной картиной. Ведь все в руках Божьих, и ни один художник не знает, когда из-под его кисти выйдет шедевр: в те недолгие часы, а то и минуты, когда он пишет этюд, или в долгие месяцы и годы, когда он не отходит от полотна даже по ночам. И как же потом бывает жаль, что по небрежению и лени ты подготовительную работу провел абы как: сделал косою, прогибающийся подрамник, натянул полусгнивший холст-мешковину, поспешно, всего в один-два слоя наложил грунт, и вот теперь твоему шедевру (в получился именно шедевр) жить недолго, во всяком случае, не века... А ведь хотелось бы, чтоб века, чтоб далекие, совсем иные люди и поколения увидели твою картину в первозданном ее виде, а не в жалких копиях, увидели и по-настоящему восхитились твоим мастерством и талантом, как нынешние поколения восхищаются талантами Лео-

нардо да Винчи, Рембрандта или того же Василия Ивановича Сурикова.

Холст у Василия Николаевича отыскался тоже отменный. Он привез его несколько лет тому назад из Чернигова, из лесной и болотной черниговской деревеньки, где еще выращивают лен, по старинке вымачивают в реке, сушат на свежем воздухе в лугах, треплют и очищают от кострицы на деревянных терницах, чем-то похожих на большие остро-опасные бритвы, установленные на двух опорах-козлах. Потом долгими осенними вечерами лен тоже по старинке сучат в бесконечно длинные суровые нитки и прядут: кто на прялках, кто на веретенах. А зимой, когда уже наступают солнечные и светлые январские дни, в домах устанавливают ткацкие верстаки, станы, или, как зовут их на Черниговщине еще, должно быть, по-древнерусски, – кресна. Холсты на этих креснах получаются по-особому тугими и плотными (частыми, как говорила Василию Николаевичу старушка, у которой он их покупал), работать на таких холстах кистью или мастихином одно удовольствие, и жить им, конечно же, долгие и долгие годы и века.

Предварительно замочив холст в чистой родниковой воде, за которой специально съездил на городскую окраину, к речной излучине и озерам, где клокотал-струился, не затихая даже в самые лютые морозы, родничок-криничка, Василий Николаевич довольно быстро натянул его и выставил сушиться. А сам тем временем принялся колдовать и священ-

нодействовать над грунтом. По этой части Василий Николаевич считался среди художников одним из самых больших знатоков и умельцев. У него была собрана обширная библиотека о грунтах, самых замысловатых их составах и рецептах, начиная от древних мастеров и заканчивая новейшими рекомендациями, к которым, правда, Василий Николаевич относился довольно осторожно, а иногда и с вполне обоснованным подозрением. Слишком много там было всякой химии, полунаучного лукавства, а он любил во всем простоту и первородство.

Первым делом Василий Николаевич поставил вариться в водяной бане столярный клей (кстати, его запах, который многие художники недолюбливали, ему очень нравился, был привычным и естественным), потом стал разводить цинковые белила, подмешивать туда в точных, только одному ему ведомых пропорциях и секретах всевозможные добавки и приправы, как он их любил называть. Если бы кто со стороны в эти минуты посмотрел на Василия Николаевича, то непременно принял бы его за какого-либо древнего колдуна, знахаря и врачевателя, который добывает живую и мертвую воду. Но ему до этого не было никакого дела, потому что он погрузился уже весь в работу, в творение; седьмая его картина, таким ярким видением промелькнувшая в воображении несколько дней тому назад, уже созидалась, жила и в этом туго натянутом на звеняще-лиственничный подрамник холсте, и в этом клокотании и запахе столярного клея, и в этих

цинковых сероватых белилах с множеством приправ и добавок, секрет которых знает один только Василий Николаевич.

Когда грунт был готов, а холст достаточно просох в жарко натопленной мастерской, Василий Николаевич вооружился флейцем и быстрыми заученными движениями наложил первый слой.

Теперь у него намечались свободные два-три дня, пока грунт отвердеет, чтоб можно было наносить второй, а потом и третий слои. Но терять эти дни понапрасну Василий Николаевич не хотел да и не мог. Он тут же достал набросок, который сделал впопыхах, когда картина только явилась ему в воображении, и начал работать над ним, переносить на картон. К прежнему своему замыслу он добавил лишь березу на заднем плане. Последняя береза последнего дня России! Это поистине русское и очень любимое Василием Николаевичем дерево многие художники и поэты, должно быть, от частого обращения к его образу, затаскали и почти опошлили. Всюду она получалась какой-то слащавой, сусальной и от этого униженной, потерявшей свою подлинную красоту и гордость. Береза, группа берез удалась, пожалуй, лишь одному Саврасову на картине «Грачи прилетели». Они там понастоящему русские, все в ожидании весны, пробуждения жизни, но вместе с тем и печальные, как бы понимающие, что жизнь эта недолговечна. Перед Василием Николаевичем стояла задача еще более трудная – написать последнюю березу последнего дня России.

Он бился над этим образом гораздо дольше, чем рассчитывал первоначально. В поисках натуры Василий Николаевич ходил по городским скверам и паркам, несколько раз ездил в лес и забирался там в такую глушь, что порой самому становилось страшно. Но его постоянно преследовали неудачи, доводившие порой до полного отчаяния: нужной березы, нужного ее образа, который окончательно сложился и окреп в воображении Василия Николаевича, никак не попадалось, писать же лишь по представлениям он не любил. Ему всегда необходимо было непосредственное соприкосновение с натурой, с живой природой, иначе все получалось мертвым и вымученным.

В конце концов Василий Николаевич, может быть, и вообще отказался бы от заднего плана на картине, где стоит одинокая береза. Но так вот легко отступать от своих изначальных замыслов только потому, что воплощение их не дается, он не привык, старался дойти до истинной сути своих неудач. Дошел он и на этот раз и немало удивился, сколь они были просты и незамысловаты. Оказалось, что поначалу Василий Николаевич не очень четко для себя уяснил, когда, в какое время года явится этот последний день России. А ведь чего здесь было думать и размышлять, чего сомневаться: раз Россия, раз последний ее день, то, значит, зима, самая ее середина, трескучие крещенские морозы. У Сурикова почти на всех картинах тоже зима, глубокие, непроходимые снега, забивающие и останавливающие человеческое дыхание моро-

зы (на той же «Боярыне Морозовой»!), Россия иной и быть не может, она вся в снегах, метелях и вьюгах.

Додумавшись до этой простой, естественной мысли, Василий Николаевич легко нашел нужную ему березу. Она одиноко стояла посреди поля, Бог знает каким образом оторвавшись и от человеческого жилья, и от дальнего, едва виднеющегося на горизонте леса. Береза вошла в пору своего возмужания, расцвета сил и от этого в гибельный день России должна была смотреться на картине особенно трагически. А трагедия всегда возвышает, очищает человеческую душу. Все картины Сурикова, даже «Взятие снежного городка», именно такие, поэтому никого они не оставляют и не могут оставить равнодушными.

Василий Николаевич сделал несколько набросков березы и один этюд в масле, который его в общем-то удовлетворил. Теперь оставалось лишь дожидаться зимы и приехать в поле где-нибудь в канун Рождества или Крещения, чтоб написать березу уже в зимнем пейзаже, в окружении снегов, заиндевелшую и стынущую на морозе.

Пока Василий Николаевич был занят березой, холст хорошо просох и после первого, и после второго, и после третьего слоя грунта, и теперь уже можно было переносить на него с картона рисунок, кое-что поправляя по ходу дела в композиции, да и в сюжете тоже. И тут Василий Николаевич опять почувствовал, что кто-то как бы мешает ему, стоит неотступно за спиной в мастерской, преследует во время его

походов в лес и в поле, толкает под локоть в художественном салоне, заставляя выбирать совсем не те краски и кисти. Василий Николаевич несколько раз, не на шутку обозлясь, снова изгонял непрощенного этого гостя и из мастерской, и из квартиры, а в поле однажды погнался было за ним по осенним зеленым, отчетливо и ясно увидев его стоящим за березой. Все это были, конечно, лишь досужие домыслы, болезненные видения, которые чудились Василию Николаевичу и постоянно настигали его, должно быть, от чрезмерного перенапряжения.

Немного успокоившись, он решил переменить тактику в борьбе со своим преследователем и как-то утром, когда тот опять возник у Василия Николаевича за спиной, он откровенно посмеялся над ним и вполне осязаемо и больно дернул за бороду. (Василию Николаевичу с самого первого раза причудилось, что преследователь его – с жиденкой, но длинной клинообразной бородкой.)

– Уж я тебе! – строго, хотя и с усмешкой сказал он ему.

В ответ гость, как и в прошлый раз, лукаво хохотнул, вырвался из рук Василия Николаевича и, исчезая за дверью, нахально показал слюняво-красный язык.

Василий Николаевич в сердцах запустил в него мастихином, но потом, легко смирив свой гнев, решил, что, пожалуй, ему надо бы несколько дней отдохнуть, а то, чего доброго, действительно свихнешься при таком напряжении.

Василий Николаевич приделся в новомодные свои ко-

стюм и пальто и пошел праздно побродить по городу. Вначале он и вправду без всякой цели походил по центральным улицам и площадям, отдыхая и наслаждаясь безделием, а потом заглянул в Союз художников, где, признаться, не был давненько и где о нем, может быть, уже и забыли.

Но оказалось, что это совсем не так. Секретарша председателя правления, ехидная и всегда все и обо всех знающая дама, придирчиво и ревниво оценив наряд Василия Николаевича, тут же снисходительно-игриво задела его, совсем как Платон Платонович, сосед-обойщик:

– Богатеем все?!

Василий Николаевич уныло-равнодушно посмотрел на нее и ничего не ответил.

Секретарша обиделась на это, как ей, наверное, показалось, высокомерное молчание, но решила не сдаваться:

– Гонорар получили или так, по случаю?

– По случаю, – с трудом пересилив себя, совсем разочаровал ее Василий Николаевич.

Секретарша хмыкнула, давая тем самым понять, что она ни капельки не верит ни мнимым слухам о богатстве Василия Николаевича, ни его поддельно-дорогим одеждам: художники (и в первую очередь председатель правления, ее непосредственный начальник) давно списали Василия Николаевича со счетов и даже тайно, и вполне обоснованно, собирались исключить из Союза художников за творческую бездеятельность.

Василий Николаевич втягиваться в длинную, затяжную беседу с секретаршей, которую он и раньше недолюбливал, не стал. Дама она своеобразная, избалованная чрезмерным вниманием художников, больших и малых, и от этого самоуверенно возомнившая, будто бы она что-либо понимает в живописи. На самом же деле дама была более чем заурядной и ограниченной. В общем, такой, как все секретарши при всех начальниках. В молодости (а Василий Николаевич помнил ее и в молодости) она слыла знаменитой городской красавицей, за которой волочились многие художники, писатели и композиторы. Но теперь красота ее пожухла, выцвела, как на плохо загрунтованной и написанной плохими красками картине. Дама отчаянно этому сопротивлялась, прибегала ко всевозможным женским ухищрениям – кремам, помадам, массажам. Но чрезмерное их употребление лишь усугубило ее увядание, превращая в откровенно некрасивую, а порой даже и безобразную старуху.

Вообще Василий Николаевич давно заметил, что очень красивые в молодости женщины к старости становятся резко некрасивыми, отталкивающими, и наоборот, женщины, в юные годы почти дурнушки, гадкие утята, в зрелом возрасте, если только наработают, обретут интеллект, вдруг превращаются в царственно-недоступных, величественных красавиц. Так и картины, живопись: многие новомодные искания художников, весь их пресловутый модернизм, о котором бывает столько шума и неумеренного восторга, с годами тускнеет,

забывается, вызывая лишь снисходительную улыбку. А какая-нибудь, казалось бы, заведомо неброская, неприметная картина, этюд, написанные в традиционной, выверенной веками манере, обретают свою истинную непреходящую ценность, становятся шедеврами.

Предавшись этим обычным своим постоянным размышлениям об искусстве, без которых давно уже жить не мог, Василий Николаевич поднялся на второй этаж в выставочный зал, чтобы посмотреть, чем пробавлялись его соратники по кисти, пока он сюда не заглядывал. Увы, ничего сколько-нибудь приметного, любопытного и поучительного для себя Василий Николаевич здесь не обнаружил. Все те же потуги на открытие, на поиск, на внешнюю, броскую красоту и почти полное отсутствие глубины, глубокого, вдумчивого познания мира, да в общем-то и живописи тоже. Впрочем, было несколько обнадеживающих этюдов молодых художников, которые, кажется, начали преодолевать свой ранний, юношеский максимализм и возвращаться к традициям русской реалистической школы. Василий Николаевич решил как-нибудь встретиться с этими молодыми художниками, чтоб познакомиться с ними поближе и посмотреть, насколько серьезен их поворот, или, может быть, он тоже лишь дань новой, псевдореалистической моде.

Больше ему в выставочном зале делать было нечего, и он стал продвигаться к двери, чтоб уловить момент и, не привлекая больше внимания секретарши и каких-нибудь слу-

чайно забредших в правление художников, незаметно выскользнуть из здания. Но, к сожалению, это ему не удалось. Василия Николаевича заметила и секретарша, и несколько художников, которые, скорее всего, ею же и были осведомлены, что он в правлении. Художники дружно преградили Василию Николаевичу дорогу, дружно и восторженно стали говорить о его таланте и месте в современном мировом искусстве. Василий Николаевич, как мог, отбивался от их назойливых разговоров, заведомо зная, чем они закончатся. Минут через пять – десять, утомив восторгами и неприкрытой лестью Василия Николаевича и утомившись сами, художники попросили у него займы на бутылку-другую вина, которую им якобы край как необходимо было выпить с нужными, обещающими богатый заказ людьми. Василий Николаевич требуемые деньги займы дал (хотя и прекрасно знал, что никогда этот долг возвращен не будет), но от приглашения принять участие в нужной, позарез необходимой встрече-выпивке с нужными, необходимыми людьми отказался. Художники не очень настойчиво посетовали на его несговорчивость и отпустили с миром.

Василий Николаевич вышел на улицу с заметным облегчением в душе, дал себе зарок никогда здесь больше не появляться, но зловключения его на этом не закончились.

Не успел он сделать и двух шагов от двери Союза художников, как прямо перед ним остановилась роскошная, сияющая лаком и никелем иномарка, и из нее едва ли не на грудь

Василию Николаевичу выбросилась победно-долларовая Даша в не менее роскошной собольей шубе-манто.

– А, беглец! – в восторге закричала, захохотала она, распугивая на тротуаре пешеходов. – Ну, сегодня ты от меня не убежишь.

– Убегу! – быстро сориентировавшись, самоуверенно ответил Василий Николаевич и действительно убежал, вспрыгнув на подножку остановившегося рядом с машиной троллейбуса.

Даша захохотала еще сильнее, но вдогонку за ним не бросилась, а лишь пригрозила сквозь стекло захлопнувшейся двери троллейбуса рукой с дорогим перстнем на пальце. И столько было в этой ее угрозе вожделения, страсти и еще чего-то, не поддающегося воображению Василия Николаевича, что он весь съежился и даже закрыл глаза.

Пришел Василий Николаевич в себя лишь в мастерской. Пришел и решил, что подобные вылазки в город, суетный, обезумевший от нищеты и богатства мир чрезвычайно для него опасны и вредны. Уж если ты истинный художник, если у тебя определена работа, замысел, то сиди безвылазно в мастерской, честно работай и честно страдай. Отдыхать же, нежиться будешь после, когда работу эту завершишь, когда сможешь, подражая поэту, воскликнуть: «Умри, Суржиков, лучше не напишешь!»

Поначалу работа у него не ладилась. В душе поселилась какая-то тревога, разлад, вдохновение никак не приходи-

ло, и, наверное, лучше было бы сейчас отложить в сторону карандаш и уголь и понапрасну не терзать, не мучить себя. Ведь ничего путного в таком состоянии не выйдет, надо ждать, пока душа успокоится, разлад уступит место гармонии, без которой ни о каком вдохновении и думать нельзя. Соблазн был велик, и любой другой художник поступил бы именно так: изорвал бы в отчаянье все наброски, поломал бы все карандаши и угли, забросил бы куда подальше все кисти и краски и в конце запил бы недельки на две-три по-черному, как умеют пить только провинциальные художники и писатели. Но Василий Николаевич не был «любим другим» и прекрасно знал, что эти начальные неудачливые минуты пройдут, надо только не отчаиваться, уметь терпеть и уметь работать – и вдохновение никуда не денется, окутает, окружит твою голову сладостным, ни с чем не сравнимым туманом, и в этом тумане явятся тебе такие грезы, от которых душа замрет, а руки сами по себе начертаят на бумаге, на картоне или на полотне единственно верные линии, штрихи и мазки.

Так с Василием Николаевичем получилось и на этот раз. Часа полтора он упрямо и мужественно (Василий Николаевич не боялся этого слова) боролся с собой: колдовал над набросками, менял опять композиционное построение всей картины, соотнося ее с тем, самым первым (а значит, и самым верным) видением, брался за кисти, чтоб уже в масле написать привидевшийся ему образ. И все-таки победил се-

бля: вдохновение ожидаемо настигло его, обволокло густым стойким туманом, голова у него привычно «поплыла» (так она в раннем детстве «плыла» у Василия, когда знаменитая деревенская «шептунья» бабка Борисиха заговаривала его от испуга), закружилась, и в этом кружении все у Василия Николаевича стало получаться.

Всего за каких-нибудь три-четыре часа он перенес композицию с картона на холст, почти ничего уже в ней не поправляя. Василий Николаевич обладал редким, едва ли не суеверным чувством меры, которым не обладали многие другие художники. В работе, в совершенствовании картины он умел остановиться вовремя, до тех пор, когда уже любой лишний штрих или мазок будет ей лишь во вред. Он не соглашался с лицемерным утверждением о том, что совершенствованию нет предела. Предел был, и назывался он гениальностью. Иначе не появилось бы другое утверждение: от прекрасного до безобразного всего один шаг. Гениальный художник или поэт как раз и удерживался от этого губительного шага. Василий Николаевич тешил себя мыслью и гордился тем, что ему несколько раз в жизни тоже удалось устоять на грани подобного шага...

Сегодняшняя работа, пожалуй, стояла в ряду этих редких удач, чувство меры не подвело Василия Николаевича: композиция была готова и ждала теперь усовершенствования, а вернее, воплощения лишь в масле...

Но это был уже совсем иной этап в работе, и Василий Ни-

колаевич отложил его на завтра, чтобы встать у мольберта с кистями ободренным и свежим в первых лучах нераннего, но такого яркого зимнего солнца...

И каково же было удивление Василия Николаевича, когда назавтра, свежий и отдохнувший, он едва подошел к мольберту, как тут же почувствовал, что работа у него сегодня не заладится, не пойдет, сколько ни проявляй он терпения и мужества. Ему опять что-то мешало, постоянно держало в напряжении и тревоге, он болезненно ощущал присутствие в мастерской кого-то лишнего, тайно и нагло наблюдавшего за ним. Опека эта была откровенно издевательской, бесстыжей: в самые трепетные мгновения, когда вдохновение уже подступало к Василию Николаевичу вплотную, обволакивало туманом и кружило голову, вдруг раздавался где-то на антресолях или в захламленной кладовке подозрительный смешок, хохот, что-то с грохотом падало, рушилось. Руки у Василия Николаевича опускались, он устало садился на стул и в изнеможении сидел по несколько часов кряду, ломая дорогостоящие, с трудом добытые кисти.

Противоборство это продолжалось весь день и всю последующую ночь, доводя подчас Василия Николаевича до полного отчаяния. Ведь бороться ему приходилось с бесплотным и невидимым противником, который хотя и обнаруживал себя подозрительным хохотом и громыханием, но на простые человеческие слова и просьбы (а Василий Николаевич доходил и до них) никак не откликался. Порой Васи-

лию Николаевичу вообще казалось, что преследователь сидит где-то внутри его самого и оттуда, изнутри, смеется и безнаказанно издевается над почти обезумевшим от отчаяния и бессонницы художником.

Но все-таки и на этот раз Василий Николаевич вышел победителем. Причем вышел с блеском и достоинством, которых, признаться, уже и не ожидал от себя. Все оказалось гораздо проще, чем он предполагал. Мешал Василию Николаевичу вовсе не мифический какой-то, возникший в его болезненном воображении призрак, а обыкновенное творческое заблуждение, переоценка своих сил и возможностей. Все прежние шесть картин Василий Николаевич писал совсем не так, как эту, седьмую. Задумав сюжет и разработав композицию, он потом года полтора, а то и два был занят поисками природы, лиц и характеров, колесил на стареньком своем, полувоенном «уазике» по всей России, сотнями делал наброски и этюды и лишь после уже приступал к полотну в мастерской. С этой же, седьмой, картиной у Василия Николаевича получилось все не так. Он до того поддался однажды озарившему его видению, где ясно и зримо проступило каждое лицо и каждый образ, что решил писать только по воображению, отступив от хрестоматийно непреклонного своего правила – натура, живая жизнь прежде всего. И вот наказан за это отступничество творческой немощью, бесплодием, а может быть, даже и безумием. Ведь не станет же нормальному, здоровому человеку беспрестанно слышаться

ехидный хохоток на антресолях, в кладовке, а минутами так и совсем рядом, по ту сторону холста, за мольбертом.

Василий Николаевич чистосердечно покаялся перед самим собой, перед Василием Ивановичем Суриковым, который конечно же строго осудил бы его за подобное отступничество, если не предательство первой творческой заповеди, и вообще перед всей художественной братией, гильдией, к которой временами в гордыне своей был несправедлив.

Не откладывая дела в долгий ящик, Василий Николаевич на следующий же день пошел на авторынок и приобрел там себе взамен старенького, вконец изношенного «уазика», который он продал вместе с гаражом в годы своего нищенствования, крепенькую, прошедшую всего тысячу километров «Ниву». Конечно, Василию Николаевичу хотелось бы опять «уазик», эту великую, бесстрашную машину всех времен и народов, но ее на авторынке в тот день не оказалось, и поэтому пришлось приобрести «Ниву». «Мерседесы», «вольвы», «тойоты» и прочая заграничная дребедень Василия Николаевича не интересовали. Ему предстояли поездки по районным городкам, по селам, по снежным заносам и черноземной грязи, и хлипкие, престижные в больших городах иномарки для подобных путешествий не годились. Пусть на них катается долларовая Даша и подобная ей, избалованная неожиданно нахлынувшей роскошью публика. А Василий Николаевич обойдется «Нивой», которая потому, наверное, и «Нива», чтоб ездить по русским проселочным

дорогам и полям...

Но в путешествие Василий Николаевич отправился не сразу. Несколько дней он, вооружившись хорошим планшетом и карандашом, провел на центральном рынке в надежде подсмотреть там и зарисовать какое-либо особо приметное лицо, образ. Во время работы над прежними картинами подобные базарные вылазки иногда заканчивались для Василия Николаевича удачей. Народу на рынке собирается множество (в прежние годы – со всего Союза), причем самого разнообразного, с самых разных краев и областей, начиная от среднеазиатских республик и заканчивая какими-нибудь совсем недалекими, своими, но не менее колоритными деревнями и деревушками. Случалось, фигуры на рынке попадались редкостные и даже выдающиеся, которых ни в каком ином месте днем с огнем не отыщешь.

Но нынешние походы Василию Николаевичу желанной удачи не принесли. То ли рынки, лишённые окраинного притока, действительно измельчали, то ли стали ездить на них в основном перекупщики, купцы, а среди них какие могут быть фигуры и образы – все больше суета, мельтешение да жажда легкой добычи в глазах. Василию же Николаевичу нужна была Россия станова́я, крестьянская, потому как именно эта Россия нынче и гибнет, нынче и наступает последний ее день...

Утолив рыночное свое любопытство и довольно легко победив в душе разочарование от ожидаемой, но все равно до-

садной неудачи, Василий Николаевич стал готовить чем-то похожую на Конька-горбунка «Ниву» в дальнее путешествие и странствие. Он дотошно осмотрел ее, обследовал, где надо, подтянул болты и гайки, заменил аккумуляторы, проверил-подкачал запаску. В общем, провел настоящий технический осмотр и косметический ремонт, как и полагалось делать перед дальней дорогой.

Для начала Василий Николаевич решил поехать в окраинный северный район области, куда, случилось, не раз ездил и во время работы над прежними своими картинами. Народ там по лесным заброшенным деревням жил колоритный, патриархальный, почти не тронутый пресловутым техническим прогрессом. Кормился он, как и в минувшие века, в основном от земли и леса, любил помолчать и подумать. В последние годы, правда, стал заметно попивать картофельный и хлебный самогон и во хмелю, нарушив философское свое молчание, буйствовать и срываться на бунт. Но кто не без греха...

В северных этих хуторах и деревушках у Василия Николаевича было немало хороших знакомых, почти друзей, в основном среди стариков и старух, с которыми Василий Николаевич легче находил общий язык и взаимопонимание. Впрочем, молодых людей в лесных, отрезанных от мира бездорожьем поселениях почти не встречалось. Да они его и не очень интересовали, по крайней мере сейчас, когда Василий Николаевич был занят столь неожиданной и столь сложной

картиной. Здесь нужны были люди степенные, пожившие, знающие цену жизни, последним ее дням...

Выехал Василий Николаевич еще затемно, но все равно добрался в заветный свой уголок, на хутор с простодушно-наивным названием Синички, только к обеду. Разгоряченную, притомившуюся «Ниву» он остановил у крайней хаты, где когда-то не раз останавливал и «уазик», под скрипучим раскидистым вязом. В тесовом, по-северному обшитом шелевкою доме обреталась пожилая, но крепенькая еще старушка – бабка Матрена. Василий Николаевич, помнится, даже написал ее портрет. Принаряженная, в белом платочке и белом фартуке, бабка Матрена сидела на лавочке под вязом. День был по-весеннему солнечный, светлый, особый день – Пасха. Бабка только что вернулась из соседнего дальнего села, куда ходила на всенощную, разговелась, чем Бог послал, и теперь вышла посидеть на лавочке, помолчать и подумать при сиянии весеннего яркого солнышка. Тут ее и застал Василий Николаевич, объезжавший в те дни на «уазике» первородные свои хуторские владения.

Портрет он написал с ходу, на одном дыхании, ни единым словом не потревожив молчание бабки Матрены. И портрет удался на славу, чего уж тут скрывать да скромничать. Многие художники, тоже не раз пробовавшие в те годы писать стариков и старух, после откровенно завидовали Василию Николаевичу. Но вся разница между его работой и работами этих художников заключалась в том, что они, подавшись

моде, писали Русь уходящую заведомо скорбной и потухающей, а он написал ее в образе бабки Матрены совсем другой – незыблемой, не поддающейся унынию, вечной.

Подражая Павлу Корину, художники так и называли подобные картины – «Русь уходящая» или что-то в этом роде, а Василий Николаевич назвал портрет, опять-таки не отступив ни на йоту от правды жизни, от истины, – «Великдень». Да и как он мог назвать его по-другому, когда увидел бабку Матрену, сидящую на лавочке в белом платочке и праздничном фартуке, молчаливую, но просветленную, именно на Пасху, которую на всей православной Руси зовут великим днем, Великднем. Правда, после с этим названием у него не раз бывали осложнения. Всякого рода выставкомы, партийные и прочие начальники в канун выставок предлагали ему сменить название, потому как оно, судя по всему, резало и оскорбляло их атеистическое ухо. Но Василий Николаевич всегда оставался непреклонным и даже несколько раз снимал портрет с выставки, лишь бы не идти на поводу у партийного, бездумного и безродного начальства.

Сейчас дом бабки Матрены показался Василию Николаевичу нежилым, заброшенным и вообще каким-то не таким, стоящим как бы на юру, в одичании. Он вначале никак не мог понять, в чем тут дело, пока, наконец, не обнаружил, что вяз, раньше даже в зимнюю пору надежно затенявший от солнца и прикрывавший дом от полевого пустынного ветра, теперь наполовину усох, обрублен и обрезан со всех сторон,

и от него остался лишь один корневой ствол с несколькими скрипучими ветками на вершине.

Обнаружились перемены и в самом доме. Во многих местах шелевка, старательно забранная когда-то «в елочку», теперь была повыломана, и сквозь дыры беззащитно и голозияли тесовые бревна. Грешным делом, Василий Николаевич подумал, что бабка Матрена давным-давно померла, и дом нынче бесхозный, ничей, его потихоньку растаскивают на дрова, на растопку соседи, а то и заезжие вороватые жители из ближних деревень.

И все же Василий Николаевич поднялся на порушенное крылечко, несколько раз нажал на кованый язычок старинной клямки и стал терпеливо ждать. К его радости, за дверью раздался какой-то шорох, шаги, а потом послышался и старческий, совсем тихий голос бабки Матрены:

– Иду...

Сердце у Василия Николаевича учащенно забилося, взбунтовалось – жива бабка, а он в унынии совсем погрешил было против нее, помянул в душе не за здравие, а за упокой. Но когда дверь наконец-то открылась и бабка предстала перед ним в холодных сумеречных сенцах, то Василий Николаевич невольно подумал, что в общем-то был недалек от истины: бабка Матрена только считалась живой, а на самом деле была лишь тенью жизни, изможденная, согнувшаяся, с березовой необструганной палочкой в руках. Но глаза у нее оказались светлыми и ясными, ясным оказался и ум.

– А, это ты, – сказала она Василию Николаевичу так, как будто они только вчера расстались.

– Я, – с трудом унимая все еще дрожащее, бунтующее сердце, ответил Василий Николаевич. – А вы меня помните?

– Отчего же мне тебя забывать, – вроде бы даже как и обиделась бабка. – Картины малюешь. Заходи в дом.

Миновав довольно просторные рубленые сенцы, они шагнули в дом, в горницу (светелку, как ее, помнится, всегда называла бабка Матрена) и присели друг против друга на широкой лавке.

– А я поначалу думала, – повинилась все же перед Василием Николаевичем бабка, – это опять Земледелец.

– Что еще за Земледелец? – не смог сдержать улыбку Василий Николаевич. Бабка Матрена всегда говорила немного забавно, иносказательно, так, как нынче никто уже не говорит.

– Да бывший наш партийный секретарь. Он теперь тут у нас главный земледелец. Ждет не дождется, когда помру.

– Чего ж так? – поддержал разговор, посочувствовал бабке Матрене Василий Николаевич.

– Сад-огород ему мой глянулся. Говорит, перелетывай, бабка, в Сафоново, поближе к шляху, я тебе там дом куплю, а это место уступи. Во какой хожий!

– А вы? – восхитился стойкостью бабки Матрены Василий Николаевич.

– Я что?! Старая, дубленая, – вздохнула, пригорюнилась

бабка. – Здесь родилась, здесь и помру. Но покоя мне не дает, все коршуном, все вороном надо мной кружит.

Василий Николаевич примолк, не зная, чем тут можно подсобить, помочь девяностолетней бабке, которую сживает со свету бывший партийный секретарь, радетель ее и защитник, а нынче, небось, какой-нибудь раздобревший фермер, земледелец, которому такие вот не по годам зажившиеся бабки одна помеха и убыток.

– Ты ночевать будешь или так, наскоком? – поняла, кажется, заминку Василия Николаевича бабка Матрена.

– К вечеру уеду, – не смог выдержать характера Василий Николаевич, хотя поначалу, еще в городе, загадывал пожить у бабки и день, и два, походить на этюды и, главное, повторно написать ее саму. В центре картины, среди других фигур ему виделась именно такая старуха, просветленная, молчаливая.

Но сейчас, глядя на бабку Матрену, на ее березовый сучковатый посошок, на ее высохшее, уже почти потустороннее лицо, он вдруг понял, что писать ее не будет, потому как нет в ней прежнего молчания и прежней светлости. Что-то надломилось за эти годы в бабке Матрене, потухло, разрушилось, как разрушился такой еще крепкий и несокрушимый десять лет тому назад ее дом. А коль так, то и нечего здесь долго задерживаться, вести с бабкой невеселые стариковские разговоры, надо двигаться дальше, в соседнее болотистое сельцо – Иванову Слободу. Там на кордоне у Василия Николаевича тоже есть один хороший знакомый, егерь и од-

ногодок, Егор Степанович, мужик хозяйственный, крепкий, гроза всех окрестных браконьеров и порубщиков.

Бабка Матрена заходила было кормить Василия Николаевича обедом, взялась за ухваты, но он, немного лукавя, остановил ее – сыт, мол, накормлен и напоен в другом месте. Бабка вернула на место ухваты, опечалилась и в печали сказала сущую правду:

– В другой раз заедешь – не покормлю, под осинами буду лежать.

– Ну что вы, бабушка Матрена... – попробовал утешить ее Василий Николаевич.

– А то нет! – отвергла его утешительство бабка. – Тут Земледелец будет хозяйничать, от меня и следа не останется.

Василий Николаевич не нашелся, что ей на это ответить, посидел на лавке еще минуты две-три, а потом, опять лукавя и хитря, озабоченно глянул на часы и стал прощаться:

– Может, вам привезти чего?

Бабка тоже на минуту задумалась, глянула далеко в окошко и вдруг спокойно и обыденно попросила:

– Досок на домовину привези, а то Земледелец в одной рогожке похоронит.

Тут уж и вовсе Василий Николаевич не отыскал никакого ответа, а лишь приобнял бабку за плечи и едва не заплакал от простых ее, будничных слов о скорой смерти. Он вдруг почувствовал, как безмерно устала бабка Матрена жить, бороться с болезнями-хворобами, с непогодой – зимой с моро-

зами и вьюгами, летом с жарой и ливнями, – с алчным Земледельцем, который каждодневно кружит над ней коршуном и вороном. И как же далек теперь от бабки Матрены тот светлый пасхальный день, Великдень, когда она, вернувшись из церкви, сидела на лавочке в праздничном белом платочке и фартуке. И точно так же далек этот день, наверное, и от самого Василия Николаевича...

К Ивановой Слободе Василий Николаевич подъехал уже почти в сумерках, немало попетляв по бездорожью, подтаявшему снегу и наледи. Настроение его начало вроде бы понемногу выправляться и в ожидании встречи с Егором Степановичем, глядишь, выправилось бы совсем. Но вдруг в одно мгновение все порушилось, омертвело, душа вновь наполнилась темнотой и страданием. Вывернув из густого ельника к торфяному болоту, на краю которого и стояла Иванова Слобода, Василий Николаевич, словно перед неожиданно вспыхнувшим красным светом или перед каким-либо иным неодолимым препятствием – пропастью, каменной стеной, людским потоком, – сколько было сил, нажал на тормоза. Вместо болота с вечными штабельками и пирамидами торфа (тут с незапамятных времен были торфоразработки) простиралась до самого горизонта гарь. Кое-где ее засыпало снегом, но от этого зрелище было еще более удручающим: белые снежные островки лишь подчеркивали черноту выгоревшего камыша, лозовых зарослей и остатков торфяных пирамид. Раньше всегда живое, наполненное людскими го-

лосами болото теперь было мертвенно-унылым, одичавшим и чем-то напоминало Василию Николаевичу зловещую коричнево-бурую зону из кинофильма «Сталкер». Отчего тут, на торфоразработках, случился пожар (от человеческой ли неосторожности, от баловства или от злого умысла), Бог его знает, но чувствовалось, пожар был страшным и опустошающим. Василий Николаевич несколько раз видел, как горят торфяные болота. Вначале занимается прошлогодний высохший камыш; ветер, раздувая огонь, несет его вал за валом по всему пространству, легко переметываясь через топкие канавы, ручейки и озера. Гудение пожара слышно за несколько километров, наводя страх на жителей окрестных деревень; черная пелена дыма застилает небо и землю, застит дневной свет и, кажется, достигает самого солнца. Но потом вдруг все мгновенно стихает: огонь уходит в землю, в торф, где его уже ничем не достанешь, никак не погасишь. Гореть торфяные болота могут годами, то воспламеняясь, выкидывая на поверхность в самых неожиданных местах высокие столбы, протуберанцы пламени, то опять уходя вглубь, чтоб там за타иться и выжечь все до основания.

Василию Николаевичу показалось, что в нескольких местах болото действительно тлеет и над обгорелыми корягами лозняка вьется сизый торфяной дым. За этим дымом в надвигающихся сумерках слободских хат и Егорового кордона не было видно. Василий Николаевич посчитал это просто обманом зрения: хаты и кордон должны были где-то су-

ществовать, надо только не стоять на месте, а двигаться к ним навстречу, и они обязательно обнаружат себя неожиданно вспыхнувшим огоньком, человеческими голосами, лаем собак, мычанием и ревом скота.

Василий Николаевич так и сделал: заново завел заглухнувшую было машину и по обочине болота стал пробираться к селению, чуя, что оно живо и лишь обманно затаилось по извечной деревенской хитрости и осторожности.

Но на этот раз чутье Василия Николаевича обмануло. Когда он, опасно петляя по заброшенной, мертвой какой-то дороге, добрался наконец до первых слободских дворов, то пришел в страх и смятение еще большие, чем при виде выгоревшего, одичавшего болота. Ни одной уцелевшей, способной встретить его живым огоньком и человеческим духом хаты он не обнаружил. Пожар, по-видимому, налетел и сюда, в слободу (а может быть, отсюда как раз и начался), и подобрал все подряд, без разбору: крепкие рубленые дома, сараи, повети; неостановимой лавой прошелся по садам и огородам. Тушить его было некому, потому как в слободе, точно так же, как и в недалеких Синичках, жили одни старики да старухи, заброшенные, забытые начальством. Да и самого начальства здесь, поди, по нынешним временам днем с огнем не отыщешь. Оно все преобразовалось, перекрасилось в земледельцев, в фермеров, кружит над такими вот деревеньками коршунами и воронами, прибирая их к своим рукам. Мужик тут был один лишь Егор Степанович, но что он мог

сделать слабыми своими силами. Пожарных машин в слободе сроду не водилось, они все где-то там, на центральной усадьбе, в Сафонове. Вернее, на бывшей центральной усадьбе, потому что ныне почти повсеместно нет ни центральных, ни бригадных усадеб – всюду разруха и запустение. Зато, как грибы после дождя, растут настоящие помещичьи усадеб, дворцы и терема вдоль шоссейных людных дорог. Но там иные, не крестьянские люди, иные порядки...

И все же Василий Николаевич решил проехать вдоль погорелых, обильно засыпанных снегом домов в конец улицы, где чуть в отдалении от всей слободы, за небольшими зарослями терновника стояло подворье Егора Степановича – кордон. Егор человек осторожный, деятельный, у него всегда на случай пожара были припасены бочки с водой, ведра, багры, лопаты – уж он-то должен был подворье свое отстоять.

Но увы, и дом Егора, застигнутый, должно быть, врасплох, сгорел дотла; из-под снега торчали лишь угольно-черные головешки, которых Егор не стал даже забирать на дрова, да за терновником виднелся тоже обугленный, растаскиваемый вороньем стожок сена. Кругом было так пустынно, голо и так неприкаянно, что Василию Николаевичу захотелось как можно скорее уехать, убежать отсюда, из этой смертельно опасной зоны, где больше никогда уже не жить людям. Но он все же задержался еще на полчаса. Сразу за терновником и обугленным стожком начиналось слободское кладбище. Василий Николаевич минуту подумал, посомневался, а потом,

беспечно бросив машину на бывшей деревенской улице, пошел к нему, хоть и сам, наверное, толком не смог бы объяснить, зачем ему понадобилось идти туда, утопая едва ли не по пояс в раскисше-грязном осеннем снегу.

Скорее всего, в нем запоздало проснулся древний христианский инстинкт, обычай: раз нет людей живых, то надо идти к мертвым, потому что они мертвы лишь телом, а душой живы и ответны, всегда поскорбят вместе с тобою, вселят силу и веру в жизнь, смертью смерть поправ...

Беду Василий Николаевич почувствовал еще издалека. Сразу за терновником, тоже тронутым по окраине пожаром, ему попались порушенные и обгоревшие остатки кладбищенской ограды, а потом пошли и обугленные кресты. Одни из них вызывающе чернели на осевших могилах и были угнетающе страшны в этой своей неземной уже черноте. Их истончившиеся перекрестья вдруг напомнили Василию Николаевичу чуждые руки, вскинутые к небу, зовущие к защите от беды и поругания. Он невольно отшатнулся от них в сторону, затих и застыл на опушке кладбища – такого зрелища видеть ему в своей жизни еще не приходилось. Другие же, перегоревшие пополам, лежали на могилах и в междурядьях и были не менее страшны, чем те, которые еще возвышались над бугорками. Упавший, лежащий на земле крест всегда почему-то казался Василию Николаевичу крестом мертвым, погребенным, от которого уже не может исходить животворящая крестная сила. Сейчас это чувство навалилось на Ва-

силия Николаевича и он, не зная, чем и как от нее оборониться, все стоял и стоял на снегу, тоже какой-то обугленный и как бы сломанный пополам. А тут еще воронье, вспугнутое им возле бывшего Егорового подворья, перекочевало сюда, на кладбище, и теперь беспокойно и хищно кружилось над пожарищем. Время от времени оно с карканьем и утробным стоном садилось то на кресты и могилы, то на обгоревшие стволы белокипенного когда-то вишенника, который рос тут по всему кладбищу. Василий Николаевич хотел было прогнать воронье взмахом руки или каким-либо человеческим словом и вскриком, но вдруг обнаружил, что у него нет на это никаких сил. Он испугался своей беспомощности, как пугался в последние годы лишь творческой немоты и бесталанности, и совсем оцепенел на опустошенной, безжизненной зоне.

Сумерки, между тем, совсем уже окутали окрестные поля, подползли и сюда, на погорелое кладбище и слободу, и грозились перейти в ночь. Василий Николаевич готов был остаться здесь навсегда, потому что все равно нигде за этим пожарищем нет живой жизни, всюду лишь гарь, опустошение и могильно-мертвенная темнота. И вдруг далеко, почти на горизонте, вспыхнул огонек, обозначая человеческое жилье, и этот заблудившийся, случайный огонек заставил Василия Николаевича восторгнуться, поверить, что жизнь все-таки где-то еще есть, еще существует и он может надеяться на свое участие в ней.

Василий Николаевич обрел в себе силы, повернулся и пошел по своим же проторенным следам назад к машине.

Возвращаться в Синички он теперь не стал, боясь хотя бы еще раз окинуть взглядом выгоревшее сталкеровское болото, а двинулся по лесной просеке объездом, к шоссеной дороге. Просека была малозаснеженной и нетопкой, машина шла по ней ровно, ходко, и Василий Николаевич, ориентируясь на дальний, мерцающий и сквозь деревья огонек, опять понемногу начал оттаивать душой. Но сразу за лесом дорога переменялась, извилисто запетляла то по окраинам заливного луга, то по черноземно-вязким полям. Задумавшись, Василий Николаевич вовремя не переключил скорость и засел в запорошенной снегом колдобине. Вначале он попробовал выбраться враскачку, надеясь на силу и мощь «Нивы», газова, давил и давил на акселератор, но заднее левое колесо, пробуксовывая, лишь все больше и больше погружалось в чернозем. Пришлось Василию Николаевичу вылезти из машины и, вооружившись лопатой, подкопать снежно-земляное крошево до подмерзлого твердого грунта. Для верности он собрался было сходить еще в недалекие посадки, чтоб набрать там какого-либо хвороста, но тут вдруг из-за поворота в сумеречной темноте вылетел прямо на него на всем ходу тяжелый трехосный «Урал». Приняв чуть в сторону от машины Василия Николаевича, он остановился, и из кабины высунулся мужик лет сорока пяти, обветренный, каленый и очень уверенный в себе. Глянув свысока на Василия Нико-

лаевича, он белозубо засмеялся и крикнул:

– Стольник дашь – выдерну!

– Спасибо! – сдержанно, но зло ответил Василий Николаевич, дивясь этой совсем не шоферской наглости прокаленного мужика, который может «выдернуть» попавшего в беду собрата лишь за стольник.

– Ну гляди! – еще раз хохотнул тот, проскрежетал сцеплением и помчался дальше, к уже виднеющемуся в прогале между посадок шоссе.

А Василий Николаевич вдруг узнал корыстного этого мужика. Он как раз и есть тот самый Земледелец, бывший секретарь партийной организации, о котором говорила в Синичках бабка Матрена. В прошлые годы Василий Николаевич не раз с ним встречался, приезжая сюда на этюды. Звали его, кажется, Павел Петрович, и был он тогда вальяжно-гладким мужиком, любившим организовывать для заезжих гостей всякого рода застолья. Подвыпив, он, помнится, не раз подбивал Василия Николаевича написать портреты передовиков подопечного ему колхоза. Василий Николаевич, как умел, отбивался, говорил, прикидываясь излишне хмельным, что передовиков не пишет, ему бы что попроще.

– Тогда Тоньку! – хохотал (но не так белозубо, как нынче) Павел Петрович.

Тонька, конторская какая-то служащая, была, по слухам, полюбовницей и зазной Павла Петровича. Во всех застолях она принимала самое деятельное участие, хлопотала

над выпивкой-закуской, развлекала высоких гостей песнями и танцами, но всегда до определенной черты, потому как помнила, что гости выпьют, закусят и исчезнут, как ночное наваждение, а Павел Петрович останется.

Никакого живописного интереса Тонька у Василия Николаевича не вызывала: была под стать Павлу Петровичу, гладенькой, смазливой, но внутри себя ничего не таила, кроме разве что хитроватого деревенского простодушия. Василий Николаевич отбился и от Тоньки, хотя Павел Петрович, кажется, затаил на него обиду и, совсем уж захмелев, обозвал Шишкиным.

Но то было давно, в другой жизни и в другом времени, а теперь Павел Петрович, поди, человек беспартийный, каленый и носит в окрестных деревнях кличку Земледелец. Тоньку с ее простодушием он, скорее всего, оставил, потому как нынче его такие женщины интересовать не могут. Ему подавай теперь городских, холеных, к примеру, таких, как Даша, которые за деньги на что хочешь пойдут. А Тонька еще сможет по простоте своей деревенской и заартачиться. Ей непременно любовь подавай, чувства, а деньги для нее что – пустота и ветер.

Василий Николаевич Павла Петровича признал, а вот тот, кажется, его запомнил, и слава Богу, иначе он тут, на бездорожье, разыграл бы комедию покруче, рассчитался бы с Василием Николаевичем за все не написанные им портреты. Бывшие эти партийные секретари народ злопамятный,

озлобленный, никак они не могут смириться, что вдруг, в одночасье оказались в дураках со всей своей говорильней и пустозвонством. Впрочем, Павел Петрович, кажется, не такой. Он из той породы и того племени, которые приживутся на любом месте, приспособятся к любым обстоятельствам. Вчера был партийным говоруном, идейным вождем, сегодня переделался, перевоплотился в земледельца, а завтра станет вообще черт знает кем, для собственного благополучия и достатка отца с матерью не пощадит, не то что какой-либо доживающей век бабки Матрены.

Понаблюдав минуты две-три за «Уралом», который, тупорыло, по-бульдोजьи подминая под себя пространство, уносился все дальше и дальше к шоссе, Василий Николаевич опять начал подкапывать под колесом лопатую. Потом набросал туда хвороста и несколько увесистых бревен, удачно найденных в посадках. Подмост получился основательный, жесткий, машина должна была за него зацепиться и легко выбраться на твердую колею. Но каково же было удивление Василия Николаевича, когда она снова начала пробуксовывать, и вовсе не потому, что колесо никак не цеплялось за хворост, а потому, что кто-то невидимый и неосязаемый (в этом Василий Николаевич не сомневался) удерживал ее за задний бампер. Причем удерживал без особого усилия, да еще и насмеялся над Василием Николаевичем, то чуть отпуская и даже как бы подталкивая «Ниву» вперед, то опять осаживая ее в глубокую черноземную яму. Василий Нико-

лаевич высовывался из машины, чтобы посмотреть, кто же это там так не ко времени играет с ним, но в сумеречной темноте никого не видел, зато отчетливо и ясно слышал нахальный, безнаказанный хохоток, чем-то похожий на хохоток только что исчезнувшего Павла Петровича. В сердцах Василий Николаевич метнулся к заднему бамперу, чтоб обнаружить там злоумышленника и схватиться с ним. Но никого возле бампера, конечно, не обнаружилось, хотя снег и земля вокруг машины были порушены, затоптаны какими-то непонятными следами, а на бампере виднелись отпечатки длинных и явно не человеческих пальцев. Лоб у Василия Николаевича покрылся холодным потом, а по всему телу пробежал обжигающий колющий озноб. Все эти преследования и видения становились слишком уж навязчивыми, болезненными. А ведь никогда прежде Василий Николаевич не был им подвержен. Он всегда считался человеком с очень устойчивой психикой, с железными, как про него говорили, нервами и этим по праву гордился. Да и как было не гордиться, когда среди художников столько людей неуравновешенных, мнительных, а то и откровенно свихнувшихся. Чаще всего, правда, от водки и неутоленных амбиций. Он же и водки не пил, и чрезмерно своих возможностей не переоценивал. И вот на тебе – уже не первый раз чудится и мнится ему всякая чертовщина.

Василий Николаевич суеверно затоптал неясные следы своими собственными, протер ветошью бампер, хотел даже

было, никем не видимый, осенить и себя, и машину крестным знаменем, но потом сдержался, посчитав, что для него, человека не очень верующего, это будет двойным богохульством. Василий Николаевич вполне атеистически про себя усмехнулся и решил бороться с наваждением подручными, вполне материальными средствами. Он еще несколько раз сходил в посадки за хворостом и бревнами, получше и поудачливей подложил их под колесо и все-таки выбрался на твердь. Хотя опять-таки не с первого и не со второго раза, а лишь хорошенько раскачав «Ниву» и отогнав от бампера преследователя горячими выхлопными газами.

– То-то же, – горделиво сказал он, поскорее отъезжая от опасного места. – С нами крестная сила.

В ответ раздался веселый, но все отдаляющийся хохоток. Преследователю и злоумышленнику, должно быть, надоело играть с Василием Николаевичем, и он отпустил его с миром, хотя легко мог и не отпустить, что и слышалось в его насмешливом хохотке.

Избавился и оторвался Василий Николаевич от этого хохотка лишь на шоссе, а до этого на проселочной дороге он все время преследовал его, то забегая далеко вперед машины, то, наоборот, заметно отставая, но чаще всего мчась рядом с разгоряченной «Нивой» или даже залетая внутрь ее.

На шоссе же, в ряду других машин, уже освещенных фарами, он быстро затерялся, исчез, не в силах, должно быть, соревноваться с возросшей их скоростью. Но один раз он

все же на несколько мгновений возник снова. В центре Сафонова Василий Николаевич обратил внимание на длинную вереницу краснокирпичных особняков под черепичными и оцинкованными крышами, и особенно на один, за высоким бетонным забором которого ему привиделся тупорылый, бульдожий «Урал» Павла Петровича. И вот именно в это мгновение насмешливый хохоток преследователя опять прорезался с новой, удесятеренной силой и едва не толкнул машину Василия Николаевича прямо под колеса военного, неожиданно возникшего на шоссе тягача.

... Отсиживался дома, обдумывал все случившееся с ним во время поездки Василий Николаевич недели две. Зима совсем уже легла на землю, окутала ее снегами, сковала морозами, завьюжила частыми декабрьскими метелями. В такую погоду хорошо сидеть в мастерской, писать, поглядывая в окошко, какой-нибудь неприметный городской пейзаж с заснеженными тротуарами и крышами, гонять крепкие чаи и кофе, а в перерывах почитать что-либо для души, для сердца, не раз уже прежде читанное, знакомое. Но Василию Николаевичу не писалось и не читалось. В мастерскую он ни разу даже не заглянул, а сидел безвылазно дома и все думал, думал и думал и никак не мог понять, что же это за происшествие случилось с ним в Синичках и Ивановой Слободе, почему там не встретилось ему ни одного человека, достойного быть изображенным на седьмой его картине, а попада-

лись одни лишь пожарища, поруха да окаянный, похожий на коршуна и ворона Земледелец?!

В немоте и отчаянии встретил Василий Николаевич и Новый год, и Рождество, а вот в самый канун Крещенья вдруг встрепенулся, сбросил с себя дремоту и слабоволие и помчался по зимней накатанной дороге в юго-западные районы области, где у него раньше тоже было немало приметных мест и приметных людей. Что послужило причиной такой бодрости и такой жажды деятельности, Василий Николаевич объяснить не мог, но чувствовал себя совершенно излечившимся от меланхолии и неверия. Внутри его как будто вдруг пробудился и заново ожил тот прежний, молодой Василий Николаевич, который никогда не знал отчаяния и уныния, потому что всегда верил в свои силы, как верит любой крестьянин, иначе как же ему крестьянствовать, как пахать землю, сеять, как выращивать на ней урожай?!

Целую неделю в возбужденном, горячечном состоянии мотался Василий Николаевич по утопающим в снегу юго-западным районам, ночевал в крошечных районных гостиницах, у давних своих знакомых и просто у случайных людей, которые без особых нареканий принимали его на постой. Вся машина была забита у Василия Николаевича набросками, и он почти уже ликовал: ведь два или три из них были по-настоящему удачными и сами просились на холст.

На юго-западе ему нигде не встретилось ни пожарищ, ни сколько-нибудь заметных разрушений, как будто там, по

сравнению с северными заброшенными деревьями, была какая-то совсем иная жизнь, а то и иная страна. И он до усталости и ломоты в запястьях все рисовал, рисовал и эту страну, торопясь как можно достоверней и ярче запечатлеть первоначально чистый ее заснеженный покров, и первоначально обновленных ее людей.

Но дома, в мастерской, развернув все свои наброски и этюды, он вдруг с ужасом обнаружил, что ничего пригрезившегося ему в юго-западных районах на них нет и в помине. Все было серо, уныло и разрушено (а в одном месте даже мелькнули следы пожара). Но больше всего Василия Николаевича удручали человеческие лица. Такой темноты, такой забитости и безверия он нигде прежде не встречал. В душе у него вспыхнуло жестокое подозрение: да он ли все это увидел и изобразил! Или, может быть, кто-то невидимый и тайный по злему умыслу подменил ему работы. Подозрение тут же сменилось отчаянием, и Василий Николаевич, не сумев сдержать себя, изорвал на мелкие куски все планшеты, а потом для верности еще и бросил их в горящий камин. Наброски и этюды быстро занялись желто-оранжевым бездымным огнем, обуглились и начали исчезать в дымоходе безжизненно мертвыми, прямо на глазах превращающимися в пепел клоками. И вот когда последний из них унесся в узкий сажево-черный дымоход, оттуда, из-под самого потолка, где находилась вьюшка, вдруг раздался такой знакомый уже Василию Николаевичу хохоток. Он не смог перенести его, схва-

тил попавшуюся в руки палитру, запустил ею в дымоход и вьюшку, а сам в изнеможении упал на диван и пролежал на нем, кажется, несколько суток...

На Василия Николаевича опять навалились уныние и безразличие ко всему на свете. Но теперь он был уже поопытней и знал, что через неделю-другую они закончатся, надо только научиться терпеть, выждать и не делать никаких глупостей.

И вскоре терпение его действительно было вознаграждено. Болезнь Василия Николаевича прошла как бы сама собой, без всяких последствий и осложнений. Он опять чувствовал себя бодро и уверенно и тут же решил воспользоваться этой уверенностью, завел машину и помчался во весь опор в недалнее пригородное поле, где еще по осени приметил одинокую сторожевую березу. День выдался морозным, солнечным, но тихим и безветренным, как раз таким, каким Василий Николаевич и собирался запечатлеть его на картине. Снега вдоль шоссе покрылись крепким, отливающим синевой настом, и береза на фоне этого наста должна была смотреться по-особому величественно.

Свернув с шоссе на санную проселочную дорогу, Василий Николаевич переобулся в валенки, надел поверх легенькой дубленки просторный армейский тулуп, специально когда-то купленный им для таких вот зимних походов, и с этюдником в руках стал подниматься на заметно высокий крутой взгорок, за которым простиралось широкое равнинное поле с растущей посередине его березой. В зимнем тяжелом оде-

янии недолгий этот (как ему казалось по осени) путь дался Василию Николаевичу с трудом. Несколько раз он вынужден был и останавливаться, чтоб перевести дыхание и переменить руки, но все это, конечно, ничего не значило и несколько не влияло на настроение Василия Николаевича. Он был уже весь во власти предстоящей работы, в сладостном порыве вдохновения, и все мелкие неудобства и преграды казались просто смешными. Не доходя двух-трех шагов до вершины, Василий Николаевич решил отдышаться в последний раз, чтоб после, уже на спуске и приближении к бере-зе, больше не останавливаться и не терять времени. Яркое февральское солнце, вынырнув из-за бугорка, резко слепило Василию Николаевичу глаза, и он несколько мгновений сто-ял с покаянно опущенной головой, привыкая к снежно-ис-кристому его сиянию. С самого раннего детства Василий Ни-колаевич очень любил такие вот солнечные морозно-яркие дни, когда из тела и души безвозвратно уходят вялость и лень, а вместе с ними и скудные, ничтожные мысли. В такие дни тебя одолевает неутолимая жажда деятельности, движе-ния; тело твое, как никогда крепкое и мужественное, требует настоящей мужской работы где-нибудь в поле, в лесу или в лугах, а мысли, под стать солнцу и морозу, ясные и чистые, постоянно влекут тебя к красоте и радости жизни, отвергая все суетное и мелочное. Надо только не побояться выйти из душной, пропыленной квартиры на свежий воздух и бодря-щий мороз, где без движения и работы ты просто погибнешь.

Дыхание у Василия Николаевича выровнялось, окрепло, и он стремительно и напористо сделал два последних шага на вершину бугорка, в радостном предощущении того, как же легко ему будет спускаться вниз по твердому синеватому насту. И вдруг Василий Николаевич в испуге замер: сколько хватал глаз, перед ним простиралось широкое, занесенное снегом поле, с правой стороны окаймленное едва видимым темно-густым лесом, а с левой пустынно-голое до самого горизонта, – но березы на этом поле не было. Василий Николаевич вначале этому не поверил и стал лихорадочно оглядываться вокруг, сверяя запавшие ему в память приметы, пугаться еще больше и спрашивать у самого себя: может быть, он не туда заехал, перепутал дорогу и направление. Но минуто спустя, уже более спокойно осмотрев все окрест, он твердо укрепился в мысли, что ничего не перепутал, нигде в дороге не ошибся – это было именно то самое поле с призрачно видимым лесом по правую сторону, и вон там, на самой его середине, осенью стояла береза, которая столько раз грезилась Василию Николаевичу на заднем плане его седьмой картины. Кому она тут посреди поля могла помешать, кому могла понадобиться (на дрова ли, на корявые, сучковатые доски), Бог его знает, но вот же кому-то помешала и кому-то понадобилась. Разумнее всего Василию Николаевичу, наверное, надо было повернуть назад, чтоб попусту больше не расстраиваться, не распалять себя, но он все-таки начал спускаться вниз, к тому месту, где она когда-то росла и те-

перь от нее осталось одно лишь корневище. Василию Николаевичу захотелось посмотреть хотя бы на него, посчитать на свежем, не успевшем еще потемнеть срезе годовые кольца – и тем утешиться.

Но даже этого призрачного утешения ему не было суждено испытать. Вместо корневища и среза он увидел глубокую, занесенную снегом воронку, образованную немалым, должно быть, взрывом. Был ли он произведен по какой-либо хозяйственной нужде и потребности или по чьей-то прихоти, злomu умыслу, а то и по глупому озорству, теперь уже значения не имело, – но от белоствольной, в самом расцвете и жизненной крепости березы не осталось и следа. Растерзанный ее ствол, наверное, увез на дрова какой-либо расторопный мужичок из местных шоферов или трактористов, а непригодные даже на растопку ветки занесло частью еще землей во время взрыва, а частью снегом, и Василий Николаевич вправе был теперь подумать, что она действительно всего лишь пригрезилась ему...

Утопая в снегу, Василий Николаевич стал безоглядно уходить назад к машине, но почему-то не по своим прежним следам, а окрест взгорка, по пустому равнинному полю, и вот тут его опять настиг злонамеренный, торжествующий хохот незримого преследователя. Василий Николаевич с замершим сердцем, преодолев немалый свой страх и подозрения, наконец оглянулся и на склоне воронки в снежном мареве и синеве ясно и отчетливо увидел какую-то зыбкую,

не совсем как бы даже и человеческую фигуру. Он поспешно отвернулся и хотел было побежать к спасительно виднеющейся на санной дороге машине, но, обутый в тяжелые негнущиеся валенки, оступился, упал и никак не мог подняться, путаясь в длиннополом тулупе и все глубже проваливаясь в снег. Одно было хорошо – что на земле и снегу, в острорежущем насте хохот преследователя казался Василию Николаевичу не таким злонамеренным и торжествующим, а вскоре и вовсе затих, хотя фигура все еще и продолжала маячить над оврагом, как будто ей было интересно узнать и увидеть, поднимется Василий Николаевич на ноги или не поднимется, так навсегда и оставшись лежать распластанным на краю поля...

Как поднялся со снега и как приехал в город, Василий Николаевич не помнил. Осознал он себя лишь через несколько дней крепко пьющим, и не у себя в квартире, не в мастерской, а дома у Даши. Он сидел за столом, уставленным всевозможными яствами, выпивками и закусками, в новомодном своем заграничном костюме, при бабочке и карманных золотых часах, как оказалось, подаренных ему Дашей. Квартира была богатой, причудливо (но безвкусно) обставленной, с какими-то атласно-бархатными шторами до самого пола, за которыми Василию Николаевичу постоянно чудились посторонние, не живущие в этой квартире люди. Он несколько раз говорил об этом Даше, просил ее выгнать из-за штор и из квартиры подозрительных, неизвестно как проникших сюда

соглядатаев. В ответ Даша бесстыже садилась ему на колени, сладострастно обнимала, подносила бокал вина и, когда Василий Николаевич его выпивал, начинала полупьяно безудержно смеяться:

– Да нет там никого, художник!

Это ее ехидно-небрежительное «художник» обижало и оскорбляло Василия Николаевича. Он грубо отталкивал Дашу, сам шел к шторам проверить, есть ли там кто или нет, а потом вдруг мгновенно трезвел и начинал вспоминать, рассказал он или нет в пьяном бреду Даше о седьмой своей картине, о том, что писать такую картину русскому художнику грешно и святотатственно. И вот Бог его и наказывает за это и немощью, и пьянством, и пышнотелой нахально-вкрадчивой Дашей. Временами он был почти уверен, что рассказал, иначе с чего бы это Даше так ехидно похихатывать и посмеиваться над ним, прозывая за каждым словом «художником» и все подливая и подливая в бокал вина. Василий Николаевич смотрел на нее тяжелым, угрюмым взглядом, но от вина не отказывался, пил и хотел еще выпить, чтоб окончательно опьянеть и уснуть прямо за столом. Но Даша ему этого не позволяла, заботливо вела к белоснежной своей, немислимых размеров кровати, терпеливо раздевала и укладывала под одеяло, несмотря на его грубое сопротивление и грубые слова.

Когда же Василий Николаевич просыпался и опять неведомо каким образом оказывался за столом в костюме, при

бабочке и пошло-купеческих карманных часах, а Даша, услужливая и расторопно-веселая, обнаруживалась рядом с ним, он в мельчайших подробностях вспоминал все проведенные с ней дни и ночи и успокаивал себя – нет, не рассказал. Да и не мог рассказать, потому как никакого греха и святотатства за собой не чувствовал. Он художник и может писать любые картины, под любым названием и за любой гонорар – это никого не касается и не должно касаться, это его личное, неподсудное и неподвластное другим людям дело. А раз так, то и каяться ему незачем и не перед кем! Да и Даша после пьяного его покаяния вела бы себя совсем по-другому, не похотывала бы, не посмеивалась бы над минутной, временной слабостью Василия Николаевича, а вполне трезво и расчетливо вызнала бы у него всю предельную сумму гонорара, хорошо опохмелила и сама отвезла бы в мастерскую к мольберту, кистям и краскам, почувствовав над ним роковую свою женскую силу и власть, которые при умелом владении ими могут обернуться немалыми посулами и наградами. Во всяком случае, намного большими, чем те, которые она зарабатывает в «Русской тройке» вакхическими своими танцами.

... Трезвые эти и все чаще повторяющиеся прозрения постепенно начали выводить Василия Николаевича из затяжного его, длившегося на этот раз почти полтора месяца затмения. И вот по весне, когда на деревьях не только набухли,

но уже и распустились первые почки, он самым натуральным образом убежал от Даши.

Силы и здравый рассудок к нему быстро вернулись, Василий Николаевич окреп и душой и телом и теперь, изредка лишь вспоминая приключившееся с ним у Даши наваждение, снисходительно усмехался и задавался хотя и безответным, но тоже вполне смешным вопросом: «Надо же!»

К концу апреля, к Страстной, просветляющей сердце и душу неделе, Василий Николаевич почувствовал себя совсем хорошо, подготовил машину и поехал за город по весенним, обновленным дорогам. Никакого, заранее разработанного и заготовленного плана у него на этот раз не было, он просто решил выехать в поля и просторы лишь затем, чтоб подышать чистым апрельским воздухом, посмотреть, как возрождаются к новой жизни леса, луга и придорожные сады, и самому тоже возродиться, теперь, разумеется, окончательно и бесповоротно.

И, может быть, именно потому, что у него не было никаких заведомо намеченных планов и задумок, Василия Николаевича вдруг настигла удача.

Проезжая через одну из деревень (Василий Николаевич даже не запомнил ее название), он неожиданно увидел возле окраинного дома молодую, по-русски статную и по-русски неброско красивую женщину. На руках она держала годовалого светловолосого ребенка, который, засыпая, крепко обнимал ее за шею, и смотрела куда-то вдаль, на дорогу, уходя-

щую в поля и незримо там теряющуюся за горизонтом. Казалось, она ожидала появления оттуда кого-то очень ей с сыном желанного, дорогого – любимого и любящего, – ждала и никак не могла дождаться. Солнце, поднявшееся высоко в зенит, почти отвесно освещало ее лицо, и Василий Николаевич вдруг не столько увидел, сколько ощутил на этом ее просветленном лице такое непостижимое предчувствие страданий, такое нечеловеческое терпение и такую надежду, что в изумлении вздрогнул и, стыдясь всех прежних своих торопливых восторгов, с печалью и резкой болью в груди подумал: да неужели у нас в России еще могут быть такие лица?! Он осторожно, боясь испугнуть женщину, остановил машину у обочины (впрочем, она не обратила на нее никакого внимания, не выделила в потоке других машин) и лихорадочно, с непривычной дрожью в руках стал делать набросок, стал запоминать игру света и тени на лицах женщины и ребенка, зная, что их придется, в нарушение всех прежних своих привычек и обещаний, писать по памяти. Ведь не заставит же он эту женщину еще раз, ради только того, чтобы быть написанной на картине, выйти с ребенком на руках на дорогу, застыть в долгом и, наверное, уже почти непереносимом для нее ожидании и испытать те же чувства, которые она испытывает сейчас. Это было уже не искусство, это была такая первозданная и первородная жизнь, перед которой любая кисть, любое перо бессильны, а любой художник или сочинитель готов упасть в отчаяние от невозможности вопло-

тить на холсте или выразить в словах хотя бы самую малую частичку открывшейся перед ним жизни.

Но Василий Николаевич не упал. Закончив набросок, он помчался сколько было силы в нем и в машине в город, почти не видя перед собой дороги и все время держа в памяти лицо женщины и ее так не по-детски утомленно засыпающего сына, который почему-то казался Василию Николаевичу глубоко обиженным жизнью, несчастным, скорее всего, сиротой.

Лихорадочно-возбужденное состояние Василия Николаевича в мастерской еще больше усилилось, вызвав такой прилив (почти приступ) вдохновения и такую страсть к работе, которой он не испытывал уже многие годы. В портрете, в фигуре женщины Василию Николаевичу все удалось с первого раза, свет и тень легли на холст точно так, как он увидел их там, в безымянной деревеньке, и как сумел довести, сохранить в памяти. Он работал весь остаток дня и всю ночь при ярком свете юпитеров, и работал не столько карандашом и кистью, сколько душой и сердцем, воспаленной и все больше воспаляющейся мыслью.

Лишь в предрассветные часы он дал себе небольшую передышку, уснул на диване болезненным, чутким сном, намереваясь продолжить работу с первыми лучами солнца. Но когда оно взошло и залило мастерскую ярким, вызывающим глазную боль светом, Василий Николаевич долго не подходил к холсту, боялся, что все на нем неудачно, не так,

как было задумано и увидено на деревенском раздорожье. Он несколько часов лежал на диване, притворяясь спящим, удерживая себя обманной мыслью, что при таком резком утреннем солнце смотреть холст нельзя – он будет слишком отсвечивать, и это свечение не позволит Василию Николаевичу беспристрастно оценить свою работу. Он ждал двенадцати часов. Вернее, двенадцати часов и двух минут. В мастерской Василия Николаевича была одна особенность. Солнце, ярко и резко заливавшее ее с утра, клонилось в сторону ровно в двенадцать часов и две минуты. И именно в эти минуты оно наиболее выгодно освещало мольберт и установленную на нем картину. Василий Николаевич хорошо это знал и если приглашал кого посмотреть на очередную свою работу, то непременно к двенадцати и двум минутам, чтоб посетитель и оценщик могли взглянуть на полотно в момент ухода солнца.

Сегодня таким оценщиком был сам Василий Николаевич. Он терпеливо дождался намеченного срока, когда солнце, прячась за домом, пригасило обжигающе-яркие свои лучи, и тут же стремительно поднялся, подошел к холсту, дрожащей рукой откинул прикрывающую его занавеску – и не смог сдержать ликования: все было так, как мыслилось и виделось, и даже лучше, – фигура женщины, преданно, но безнадежно ожидающей возвращения (или прихода) желанного, дорогого – любимого и любящего, – способного охранить и защитить ее человека, становилась теперь центральной фи-

гурой и центральной мыслью всей картины.

Когда приступ восторга и ликования прошел, Василий Николаевич, ничего больше не поправляя в фигуре женщины (чувство меры и на этот раз не изменило ему), принялся писать березу, образ которой, оказывается, тоже хранил в памяти до мельчайших подробностей. Поначалу удача и тут ему сопутствовала: береза проступала на холсте по-саврасовски печальная и терпеливая, еще не предчувствующая своего последнего дня. Но потом вдруг все испортилось, перестало ладиться и получаться. Надо было, конечно, остановиться, передохнуть, и, возможно, даже не день, не два, а несколько недель, а то и месяцев. Душа Василия Николаевича переутомилась, перегорела во время работы над фигурой женщины и теперь требовала успокоения и долгого времени для накопления новых сил. Но Василий Николаевич никак не мог остановиться: во-первых, ему казалось, что если он сейчас остановится, то больше никогда такого вдохновения не обретет, не испытает, а значит, и не сумеет написать такую очень важную для него во всем замысле часть картины с прежней силой и страстью; во-вторых же, он совсем не ко времени вдруг вспомнил, что до отмеренного ему заказчиком первого контрольного срока осталось не так уж и много, всего два-три месяца, и надо поторапливаться, потому как не годится ему, столь уважаемому заказчиком и уважающему себя художнику, нарушать данное однажды слово.

И вот стечение этих двух обстоятельств, двух причин в

конце концов и привели к тому, что все в работе Василия Николаевича разладилось, пошло на убыль. И мало того, что разладилось в работе, так еще и разладилось в душе: вдохновение час за часом стало покидать его, уходить, словно в песок, и к вечеру безвозвратно иссякло. В порыве гнева и отчаяния Василий Николаевич счистил мастихином подмалевок березы и даже занес было руку над фигурой женщины, оправдывая этот свой поступок тем, что раз не получается одно, то нечего хранить и самодовольно восхищаться другим. Но в это мгновение на антресолях, где у Василия Николаевича хранились старые эскизы и наброски, вдруг раздался так уже знакомый ему и так ненавистный хохоток. Что значил этот хохоток сейчас, в столь тяжелую для Василия Николаевича минуту, понять было никак невозможно: то ли преследователь потешался над его бессилием и творческой немощью, то ли упрямо подталкивал к безрассудному, губительному поступку – все-таки счистить с холста портрет женщины. В охватившем его исступлении Василий Николаевич готов был согласиться и с тем, и с другим (и наверное согласился бы), но, взглянув еще раз на портрет (в последний раз, как успел подумать Василий Николаевич), он вдруг встретился с женщиной взглядом – и отпрянул от картины: женщина смотрела на него истинно живыми, укоризненными глазами, и Василий Николаевич не смог вынести этой ее укоризны, бросил к подножью картины мастихин и убежал из мастерской, оставив решать судьбу холста тому, прячущему-

муся и хохочущему на антресолях.

... И опять Василий Николаевич очутился и обрел себя у Даши, в ее роскошной, аляповато обставленной квартире, в ее вкрадчиво-обманных объятиях. Все повторилось почти в точности, как и в прошлый раз: Даша ластилась к нему, похихатывая, обзывала «художником», щедро подносила вино и водку, а когда Василий Николаевич напивался и требовал выгнать из-за шторы скрывающегося там преследователя, вела к белоснежно расстеленной кровати и укладывала спать. Разница была лишь в том, что теперь водку, вино, дорогостоящие диковинные какие-то закуски и такие же дорогостоящие цветы, к которым Даша оказалась подозрительно равнодушной, она покупала не за свой счет, а требовала оплачивать все расходы Василия Николаевича. Причем делала это удивительно искусно и великосветски тонко, постоянно внушая Василию Николаевичу мысль, что настоящий мужчина должен быть мужчиной во всем и не унижать женщину нищетой и бедностью. Василий Николаевич торжественно согласился с этой бесспорно правильной мыслью, взял Дашу под свое мужское покровительство и опеку и поцарски, по-королевски одарил ее всеми, какие только были у него с собой, деньгами и пообещал одарить еще, лишь бы она сейчас не оставляла его одного, потому что один он никак не справится с тем, кто прячется за шторой.

Сколько дней и ночей на этот раз он торжествовал, безрассудно отстранившись от мелочных своих забот живопис-

ца в доме у Даши, Василий Николаевич определить был не в силах. Ему хорошо было ничего не знать и не понимать, не видеть мольбертов и холстов, не ощущать запахов красок и лаков. А когда человеку хорошо, то зачем же он станет прерывать течение этого хорошего, счастливого времени.

И Василий Николаевич не прерывал. Вернее, почти не прерывал. Потому что однажды Даша велела ему привести себя в порядок, хорошо выбриться, погладить костюм и пойти в мастерскую.

– Зачем? – с удивлением посмотрел на нее Василий Николаевич.

– Тебя там ждут, – обвилась вокруг него Даша. – Сходи.

– Ну, если ты хочешь, – ответно поцеловал ее Василий Николаевич, – то схожу.

Пешком ему идти, конечно, не довелось, хотя Василий Николаевич и не против был прогуляться немного по городу. Даша подвезла его к мастерской на своей лаково сияющей иномарке, еще раз поцеловала и напутствовала:

– Будь умницей.

С похмелья и явной болезни Василий Николаевич ничего в этих поцелуях и наставлениях не понял и поднялся в мастерскую без всяких плохих предчувствий.

Там его действительно ждали. За столом, как раз напротив занавешенного холста, сидел Вениамин Карлович, а у двери стоял навытяжку Никита с портфелем в руках.

– Ах, это вы! – без всякого интереса поздоровался с ними

Василий Николаевич и тоже присел к столу.

– Да вот, – извиняюще засуетился Вениамин Карлович, – решили проведать.

Василий Николаевич посмотрел на него вначале с затаенной снисходительной улыбкой, хотел даже было сказать что-либо колкое, язвительное, но потом вдруг мгновенно протрезвел, все вспомнил, все по-трезвому же оценил и, с трудом удерживая в руках дрожь, указал на холст:

– Хотите посмотреть?

– Ну, если можно, – опять застенчиво произнес Вениамин Карлович, поигрывая инкрустированной своей тростью.

Василию Николаевичу почтительная эта его застенчивость очень понравилась, он простил Вениамину Карловичу непрошеное, самовольное вторжение в мастерскую (без помощи Даши здесь, конечно, не обошлось) и, предвкушая восторженный его возглас, подошел к холсту. Но сбросил с него занавеску он не сразу, а томя Вениамина Карловича и совсем вытянувшегося возле двери в струнку Никиту, посмотрел на Дашины золотые часы, которые до этого, признаться, ни разу даже не вытаскивал из кармана. Взгляд его был далеко не праздным. Золотые Дашины часы показывали ровно двенадцать, и Василию Николаевичу во что бы то ни стало надо было выиграть заветные две минуты, чтоб Вениамин Карлович мог увидеть холст как раз в момент ухода солнца. Василий Николаевич начал говорить что-то необязательное, случайное, пригласил даже Никиту подойти поближе, а време-

ни было еще нескончаемо много, солнце все еще озаряло мастерскую раскаленными своими лучами, и открывать холст было рано.

Но вот наконец-то солнечные лучи ушли в сторону, словно в засаду, мастерская наполнилась прохладой и ровным полуденным светом. Василий Николаевич твердой и властной рукой сбросил накидку. Сам он на холст даже не взглянул, а неотрывно следил за Вениамином Карловичем, ожидая от него либо ликующего возгласа, либо полного онемения, что тоже не раз случалось со зрителями при первом взгляде на его картины. Сейчас, хотя картина находилась еще только в самом начале работы, можно было ожидать итога, и другого. Тем более от Вениамина Карловича, который толк в живописи все-таки понимал, и тем более от такого шедевра, которым был портрет женщины с ребенком...

Но Вениамин Карлович не вскрикнул и не онемел. Он смотрел во все свои выпученные глаза на картину, и на его лице было одно лишь недоумение. Василий Николаевич резко повернулся к холсту и тоже застыл перед ним в полном недоумении и страхе. Холст был первозданно чист и даже прозрачен: полуденное мягкое солнце, пронзая его насквозь, высвечивало лишь мелкие неровности и шероховатости грунта. Не помня себя от ярости и не отдавая отчета за свои слова и поступки, Василий Николаевич бросил накидку едва ли не в лицо Вениамину Карловичу и закричал:

– Это все он!

– Кто – он? – ничуть, кажется, не обиделся за необузданный порыв Василия Николаевича Вениамин Карлович.

– Длиннобородый! Кто же еще! – опять закричал Василий Николаевич. – Все преследует меня, все хохочет, то в дымоходе, то на антресолях! Он и счистил портрет!

– Какой портрет? – все еще ничего не понимал Вениамин Карлович, но многозначительно переглядывался с Никитой, готовым броситься на его защиту.

Пришлось Василию Николаевичу, задыхаясь от гнева и сбиваясь на каждом слове, объяснить Вениамину Карловичу, что вот здесь, в самом центре холста, был написан ростовой портрет женщины с ребенком, который должен был стать центральной фигурой и центральной мыслью картины.

– Но может быть, вы сами его как-нибудь счистили? – снова переглянулся с Никитой Вениамин Карлович. – Чем-то были недовольны в портрете и счистили. Такое с художниками, говорят, случается.

– Я похож на сумасшедшего?! – встал прямо перед ним Василий Николаевич.

– Нет! – после короткой паузы ответил Вениамин Карлович.

– Вот именно, – начал было успокаиваться Василий Николаевич и вдруг опять взорвался и закричал: – Длиннобородый это! Слышите, и сейчас хохочет!

При этом Василий Николаевич стал вырывать у Вениамина Карловича трость, чтоб запустить ее в хохочущего на ан-

тресолях преследователя.

Вениамин Карлович с трудом удержал трость, а подоспевший к нему на помощь Никита – самого Василия Николаевича, который порывался теперь запустить на антресоли золотые Дашины часы.

Уняли, отпоили Василия Николаевича водой и какой-то противной, явно не русской водкой лишь через полчаса.

Когда же он наконец успокоился, перестал рваться на антресоли, чтоб собственноручно изловить и представить на суд заказчика длиннобородого преследователя, который так коварно изуродовал шедевр Василия Николаевича, Вениамин Карлович вдруг прикоснулся к его груди огненно-горячим кончиком трости и с отечески доброй улыбкой на устах спросил:

– Деньги нужны?

– Нужны! – страдая всем телом, вырвался из-под его укола Василий Николаевич. – Нужны, и очень много!

– Хорошо, – отвел в сторону огнедышащую трость Вениамин Карлович и поманил к столу Никиту.

Тот, как и в прошлый раз, удивительно ловко и изящно справился с замками портфеля и выложил на стол перед Василием Николаевичем целую гору долларов, спрессованных в тугие, пахнущие типографской краской пачки.

Василий Николаевич обхватил их руками и приблизил к себе, боясь, что какая-нибудь из них вдруг нечаянно упадет под стол и ее там непременно подберет длиннобородый, ко-

торый на минуту притаился в дымоходе и пристально наблюдает оттуда за всем происходящим в мастерской сквозь печную вьюшку. Вениамин Карлович и Никита, к удивлению Василия Николаевича, длиннобородого не замечали и вели себя беспечно и неосторожно. Они подсунули Василию Николаевичу какую-то бумагу, где ему следовало расписаться за полученные деньги, и, кажется, совсем не слышали шороха и шебуршания длиннобородого, уже перебравшегося на антресоли, чтоб с высоты напасть на Василия Николаевича. Он же все замечал, все чувствовал и даже видел, как алчно горят на антресолях между старых холстов голубенькие глазки длиннобородого. Тайком от Вениамина Карловича и Никиты Василий Николаевич запустил в него, словно стрелу, дорогостоящую колонковую кисть и, кажется, попал в правый, мгновенно закрывшийся глаз преследователя. Это ему доставило немалую радость и удовлетворение, и он, почти не глядя на бумаги Вениамина Карловича, подписал их, тоже с истинным удовлетворением и радостью. Никита тут же спрятал бумаги в портфель, а Вениамин Карлович, раскланиваясь с Василием Николаевичем, пообещал ему:

– Мы приедем через год. Работайте.

Василий Николаевич хотел было заверить их, что столь долго работать он не намерен. Картина будет закончена гораздо раньше, тем более что длиннобородый теперь всего лишь с одним глазом и особого вреда причинить ей не сможет. Но гости остались к этому замечанию равнодушными,

вежливо распрощались и исчезли.

... Тяжкие и бесконечно длинные дни потянулись после этого в жизни Василия Николаевича. Он просыпался с восходом солнца, становился возле мольберта и все писал, писал и писал по памяти то взлетающую на воздух березу, то страшное торфяное пожарище, то какие-то еще более страшные человеческие тела, которых он в жизни ни разу не встречал. К утраченному же портрету женщины с ребенком он суеверно не возвращался, чувствуя в душе необъяснимый запрет, а на холсте вокруг ее фигуры – охранительный круг, пересечь который у него не поднималась рука.

Раз в день к нему приходила Даша, ставила возле мольберта сумку с едой, иногда бутылку водки и тут же исчезала. Василий Николаевич пробовал ее задержать (хотя и сам не знал – зачем), но она оказывалась проворней, мгновенно убегала за дверь и закрывала замок.

Так он и сидел теперь взаперти один на один с седьмой своей, незаконченной картиной. Не бросил его и не оставил в покое лишь длиннородый преследователь. Он совсем осмелел и теперь уже не только шебуршил и похохатывал на антресолях и в дымоходе, а иногда даже брал в руки кисть и подсказывал Василию Николаевичу, что и как надо писать. Василий Николаевич вырывал у него кисть, гнал от мольберта, но получалось еще хуже: длиннородый усаживался за стол, выпивал всю водку, съедал весь обед и уклады-

вался спать на диване. Жить с ним становилось невозможно да и опасно, и Василий Николаевич мало-помалу решился на побег.

Вначале он хотел было улизнуть в дверь мимо Даши, когда та в очередной раз принесла ему продукты, но Даша была на чеку и пригрозила больше не навещать его, во всяком случае, до тех пор, пока не будет готова картина. Пришлось Василию Николаевичу смириться с первой своей неудачей. Без Даши ему теперь никак нельзя было обойтись, ведь помимо еды и водки она приносила ему еще и краски. Но замысла своего о бегстве Василий Николаевич все равно не оставил и однажды ночью попробовал спуститься по веревке через окно. Побег ему непременно удался бы: у Василия Николаевича была хорошая бельевая веревка, которой он когда-то перевязывал картины перед отправкой их на выставки. Но широкое его, трехстворчатое окно было забрано с наружной стороны кованой частой решеткой, выставить которую у Василия Николаевича не хватило сил. Он совсем отчаялся, изрезал в куски веревку и даже сжег ее в камине.

И тут Василия Николаевича совсем неожиданно выручил длиннородый: когда дым с горящей веревки медленно потянулся в дымоход, он возьми и шепни Василию Николаевичу на ухо, что тот запросто тоже может выбраться на волю через дымоход, надо только пошире открыть вьюшку.

Василий Николаевич так и сделал: пошире, до упора открыл вьюшку и, подождав, пока веревка перегорит до конца,

стал пробираться через камин и дымоход на крышу. Вначале у него все прекрасно получалось: длиннобородый приободрял его, ловко поддерживал за пятки и все время подталкивал и подталкивал вверх, но когда Василий Николаевич уже добрался до выюшки и когда ему уже стало видно сквозь дымоход усеянное звездами небо, длиннобородый его предательски бросил...

... Вызволили Василия Николаевича из дымохода приехавшие по вызову Даши пожарники. Они разломали почти до основания камин, на руках вынесли оттуда перемазанного сажей беглеца и передали его санитарам «скорой помощи».

Обследовали Василия Николаевича недолго, кажется, всего неделю или две, а потом увезли за город и поселили в высокой, желто-глиняного какого-то цвета больнице, обнесенной бетонным забором с натянутой поверху колючей проволокой.

... Слухи о неожиданном несчастье, случившемся с Василием Николаевичем, ходили по городу самые разные. Одни говорили, будто бы всему виной водка и деньги, Бог знает откуда появившиеся у него в последнее время; другие – что женщины и неудачная любовь на старости лет; третьи (и особенно секретарша председателя) без устали твердили, что водка, деньги и женщины – это не главное, просто Суржиков выдохся, исписался как художник, вот и попал туда, куда и должен был попасть по причине непомерной своей

гордыни.

Но постепенно слухи начали затихать, о Василии Николаевиче забыли: у каждого ведь свои заботы, свои дела, за всех не страдаешься. Навещала его лишь одна Даша. Она привозила Василию Николаевичу овощи, фрукты и обязательно его любимые жульены из кур и грибов. Пока Василий Николаевич ел в крохотной, предназначенной для свиданий комнате, Даша сидела перед ним, подперев голову руками, тяжело вздыхала, печалилась, а на прощанье гладила Василия Николаевича по заросшей седой щетиной щеке и спрашивала:

– Может, тебе еще чего привезти?

– Нет, не надо, – торопливо отвечал Василий Николаевич и начинал испуганно оглядываться по сторонам, прислушиваться к каким-то одному ему понятным шорохам.

Даша еще раз гладила его по щеке и уходила, боясь, что у Василия Николаевича сейчас начнется приступ и за ним прибегут санитары со смирительной рубашкой.

... Квартира Василия Николаевича досталась одному из молодых художников, только что принятому в Союз. А мастерская, после недолгих споров на заседании правления, – самому председателю, взамен старой, теперь для него тесной и неудобной, к тому же расположенной на окраине города.

Вступив во владение мастерской, председатель основательно отремонтировал ее, заново переложил камин, сменил

на окне решетку с внешней на внутреннюю, как это нынче советуют все охранные службы. Не стал он трогать лишь громадного, установленного сразу на двух мольбертах холста. Он был хорошо загрунтован и натянут на добротный подрамник из лиственницы. Председатель собрался написать на этом холсте какую-либо свою картину.

И вот однажды рано поутру он заявился в мастерскую с этюдником и красками, в прекрасном рабочем расположении духа. Переодевшись в просторный полукомбинезон с широким нагрудником, который недавно привез из одной заграничной поездки, председатель застыл перед холстом и стал думать, что бы на нем изобразить.

Он был неплохим художником и хорошо понимал, что холст заготовлен несчастным Суржиковым для какой-то большой серьезной работы. Председатель, писавший в основном натюрморты и пейзажи, тоже давно хотел создать что-либо более значительное, попробовать себя в другом жанре и в другой манере. И, кажется, сама судьба послала ему такой случай. Холст манил к себе, притягивал уже одними только своими размерами, требовал масштабной мысли и широкого душевного размаха. Но ни того, ни другого у председателя не было, не дано ему было от природы, и он стоял перед холстом в нерешительности и все возрастающей тревоге.

А время между тем все шло и шло и незаметно приблизилось к полудню, к двенадцати часам. Солнце, заливавшее

ярким и жгучим светом всю мастерскую, склонилось чуть в сторону, наступила живительная прохлада, и в голове у председателя наконец стал рождаться кое-какой сюжет. Он взялся было за уголь, чтоб прямо на холсте (председатель так привык делать, работая над натюрмортами) наметить будущую композицию, и вдруг в самом центре полотна ясно и зримо различил фигуру женщины с засыпающим на руках ребенком, а на заднем плане по-саврасовски печальную одинокую березу. Женщина, осторожно прижимая ребенка к груди, неотрывно смотрела на уходящую вдаль, за горизонт, дорогу, как будто ожидала, что там вот-вот появится кто-то безмерно дорогой ей и ее сыну, кто сумеет охранить и защитить их от неминуемо надвигающейся беды. Председатель, забыв о своем сюжете, вознамерился было обвести фигуру женщины углем, чтоб после написать ее портрет маслом, но потом испуганно опустил руку, никак не в силах понять великого замысла и видения Суржикова. А не поняв их, братья за картину было бессмысленно и невозможно...

Сомнение все больше и больше овладевало председателем, он терялся в догадках и предположениях, стараясь проникнуть в таинственные намерения Суржикова (к чему эта женщина, эта береза и эта уходящая вдаль дорога?!), и наконец в изнеможении бросил уголь, закрыл этюдник и ушел из мастерской, расстроенный, раздосадованный на надменного Суржикова, который и теперь, будучи тяжело и неизлечимо больным, никому не дает покоя, всех презирает и ни во что

не ставит.

... А через полгода в город приехал Вениамин Карлович, намереваясь выкупить у председателя (и, говорят, выкупил) оставшиеся от Суржикова эскизы и наброски, а заодно и прекрасно загрунтованный громадных размеров холст, к которому председатель больше ни разу не решился прикоснуться ни углем, ни кистью.

Навестил Вениамин Карлович в больнице и Василия Николаевича. Он долго пытался разговаривать с ним в маленькой, предназначенной для свиданий комнатке, но тот Вениамина Карловича не признал, а лишь в испуге махал на него руками, часто крестил, повторял то какие-то заговоры и заклинания, то отрывки известных только ему одному молитв, то вдруг вскакивал со стула и с еще большим неистовством начинал читать, путаясь и прерываясь, последние строчки из «Мертвых душ» Гоголя:

«Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».